

2953

КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ

ГЕНИАЛЬНОСТИ И ОДАРЕННОСТИ

(ЭВРОПАТОЛОГИИ)

ВЫПУСК 3—4
Том V

Выходит под редакцией
Д-ра Г. В. СЕГАЛИНА

XX 452
12

Д-р Г. В. СЕГАЛИН

ор 261
5855

ЭВРОПАТОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
И ТВОРЧЕСТВА

ЛЬВА ТОЛСТОГО



XXX-1812

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

Предисловие	5.
А. Эвропатология личности Льва Толстого.	
Лев Толстой как эпилептоидная личность.	7
I. Клинические данные.	
1. Время появления судорожных припадков	8
2. Аффективный характер личности («эпилептический характер»)	10
3. Приступы патологического изменения настроения. Приступы депрессии.	26
4. Приступы сумеречных состояний	29
5. Приступы патологического страха смерти	38
6. Приступы психической ауры и эпилептоидных экстазов	44
7. Галлюцинации.	46
8. Приступы моментального затмения сознания (Petit mal).	49
9. Головокружения и обмороки.	50
10. Судорожные припадки	51
11. Зависимость судорожных припадков и их эквивалентов от аффективных переживаний	61
12. Наследственная отягченность.	62
13. Общая оценка всех клинических данных.	67
II. Аффект- эпилептоидные механизмы и влияние их на поведение личности Л. Толстого.	
70	
Б. Эвропатология творчества Льва Толстого	
78	
1. Хронологическая кривая творческих периодов	79
2. Роль эпилептоидных механизмов в формировании европозитивных и эвронегативных приступов творчества.	81
3. Эпилептоидный характер содержания творчества. Эпилептоидные комплексы, как содержание его творческих комплексов:	86
а) пример «погружения» героя в комплекс сумеречного состояния, сопровождающегося ступором и автоматизмом	94
в) пример «погружения» героя в сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом гнева с импульсивными действиями	99
с) пример «погружения» героя в сумеречное состояние, сопровождающееся комплексом патологического страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера	99
d) пример «погружения» героя в сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом патологической ревности с импульсивными действиями (убийства)	104
е) пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, носящее характер сноподобного или грезоподобного состояния	109
f) пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся экстазом счастья, когда все люди кажутся ему необычайно «добрыми» или «хорошими».	112
g) пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся экстазом, когда данная личность впадает в тон проповедника-моралиста, бичующего пороки людей и протестующего против лжи и порочности людей	114
h) пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся приступом ауры и экстазом, когда появляется «откровение» с богоискательским содержанием	120
i) прочие формы «погружения»	124

4. Стиль и техника письма Л. Толстого. Влияние на них эпилептоидных механизмов	125
а) Эпилептоидный характер реализма Толстого.	125
в) Эпилептоидная склонность к обстоятельности и детализации.	126
с) Эпилептоидная склонность к повторениям и подчеркиваниям («приставания» к читателю)	127
д) Эпилептоидная склонность к «пророческому» и наставническому тону нравоучителя-проповедника	132
е) Отсутствие типов в творчестве Толстого.	134
ф) Влияние эпилептоидных «пропаганд» на стиль Толстого	136
5. Симптоматология творческих приступов у Толстого	138
6. Толстой и Достоевский	145
7. Литература	147

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема личности и творчества Льва Толстого до сих пор была только проблемой литературных критиков, которые анализировали с различных точек зрения: и как литературоведы, и как социологи, и как психологи. Однако, во всех этих изысканиях читатель чувствует зияющие проблемы—нет анализа психопатолога, тем более, нет современного эвропатологического анализа. Читая эти работы различных авторов, верно подмечавших те или иные черты характера и личности, вы чувствуете, что авторы доходят до известной границы, где нужна помощь психопатолога. Без этого анализа Толстой является личностью надуманной, вернее, досочиненной в представлении критика.

С внешней стороны кажется, как будто нет ничего легче понять личность Толстого, а между тем, некоторые критики считают его не менее «загадочным» Гоголя, Достоевского. Толстой всю жизнь «каляся», писал «Исповеди» (даже в своих романах). Можно сказать, что во всех его сочинениях он обнажал все свое «нутро» публично, и все таки он остался не менее «загадочным» других великих русских писателей. Понятно, что эта «загадочность» будет продолжаться до тех пор, пока мы не вскрыем патологическую сущность этой личности и его творчества, ибо для психопатолога нет ничего «загадочного». Те, которые любят культивировать мистику «загадки», конечно, с неудовольствием отнесутся к нашей работе, поскольку идеалистически настроенные критики и литературоведы посмотрят на нашу работу, как на «святотатство» безбожника, как на вскрытие «мощей» гениальности. Также и те, которые склонны в процессах творчества видеть культ «подвига» или «жреческое служение» искусству и науке (прикрываясь иногда левой фразой), с неудовольствием отнесутся к нашей работе.

Автор исходит из убеждения, что клинический и эвропатологический анализ есть единственный путь помочь социологическому анализу творческой личности. Если Толстой, Тургенев, Пушкин, Гончаров и другие писатели отражали дворянско-помещичью среду своей эпохи, то отражали они ее различно, в зависимости от их биологической установки: в зависимости от различно-функционирующих желез внутренней секреции.

Благодаря такому анализу марксисту-социологу легче осветить например, следующий важный вопрос.

Почему Лев Толстой, будучи резко оппозиционно-настроенный к феодально-капиталистическому укладу своей эпохи и среды, прекрасно видит разложение своего класса, тяготеет своим положением, искренно рвется к преодолению своего состояния, однако, не идет в ряды революционеров (как это делали, например, передовые дворяне из его же среды: декабристы, Герцен, Бакунин и др.) Наоборот, он

делается консервативным, он противник освободительного движения, он впадает в мистику и в этом находит спасение от всех зол на земле. В чем же тут дело? Что мешало ему быть последовательным и поступить так, как все передовые люди из его класса.

Ответ нам может дать психопатология личности Толстого (как это мы увидим ниже). Его мистика, а вместе с ней и его консерватизм — есть результат патологии. Патологическая мистика стала ему поперек дороги и мешала ему преодолевать свой класс, так же, как всякая болезнь может помешать человеку идти прямой дорогой.

В личности и поведении Толстого есть целый ряд таких непонятных моментов, которые раскрываются лишь при психопатологическом анализе.

Указать и проанализировать эту биологическую сторону личности и творчества Толстого и есть цель этой работы.

В русской критической литературе мы не имеем ни одной работы (по крайней мере автору неизвестно о таких работах), где бы мы имели клинический анализ личности и творчества Толстого. Это тем более удивительно, что Толстой в таком анализе не менее нуждается, чем Достоевский; и удивительно то, что в то время, как клиническому анализу Достоевского психиатрическая мысль уделяла много внимания и тем сослужила большую службу в научном понимании его личности и творчества, Толстой же остался до сих пор с этой стороны не раскрытым. Тут, конечно, можно было бы найти много причин; среди них самая главная: клинические данные, на которые мог бы опереться психиатр для своего анализа, появились в печати лишь недавно.

Накопившиеся материалы и документы (отчасти уже опубликованные и освещенные в выпусках этого «архива») дают нам возможность раскрыть клинико-биологическую сущность Толстого, по крайней мере, в ее основных чертах. Если нам удастся эту сущность проанализировать и сделать ясной, тогда будет возможно сделать социологический анализ более полным. С этой точки зрения мы считаем предпринятую нами здесь работу своевременной и нужной. Пусть эта работа имеет свои недостатки в том или другом отношении, а они неизбежны в этих случаях, а тем более в проблеме изучения Толстого, однако, для будущих исследователей Толстого она может послужить поводом более углубленного анализа.

Весь наш материал мы располагаем таким образом: в 1 части мы даем всю клиническую симптоматику личности Толстого, весь биологический субстрат данной личности. Во 2-й части всю, так сказать, творческую надстройку над этим биологическим субстратом: также указываем на связь творчества Толстого с его клинико-биологической сущностью.

А. ЭВРОПАТОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Творчество это болезнь души, подобно тому как жемчужина есть болезнь моллюска.

По Генриху Гейне.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК ЭПИЛЕПТОИДНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Изучая личность Льва Толстого на основании всего того, что нам известно о нем с точки зрения клинической, мы имеем целый ряд данных говорить о нем, как об эпилептоидной личности (вернее: аффект-эпилептоидной личности). Если все данные, которые мы приводим здесь, действительно говорят в пользу такой клинической диагностики, то что из этого следует (спросит читатель не врачебного лагеря. Имеет ли это какое либо отношение к творчеству Толстого? Мы скажем, —имеет самую тесную связь, без которой нельзя понять ни его личности, ни его творчества.

Если жемчужина есть действительно результат болезни моллюска, то чтобы изучить эту жемчужину, возможно ли этого достигнуть, не зная болезнь моллюска? Если по Генриху Гейне творчество рождается в таких же условиях, как и жемчужина, то можно ли жемчужину русской литературы —Толстовское творчество —изучить, не зная его «болезни души»? Вот почему, приступая к изучению творчества Толстого, мы начинаем изучение с истории его болезни.

Говоря здесь о Толстом, как об эпилептоидной личности, нас здесь интересует этот вопрос не с лечебной точки зрения, а как известное биологическое состояние личности, окрашивающее поведение его, его реакции на внешний мир. «Эпилептоидная психика» для клинициста означает определенный симптомокомплекс поведения. Не зная клиническую основу этого поведения, вряд ли можно понять Толстого вообще. Разберем здесь, какие основания имели мы для такой диагностики и что она нам дает для понимания его творчества.

Для этого приведем сначала те клинические данные, определяющие его конституцию, как эпилептоида, а потом укажем на отдельные симптомы его психической структуры, определяющие отдельные моменты его поведения и творчества.

На страницах этого «Архива» мы уже неоднократно имели случай знакомиться с рядом патографических документов и материалами свидетельствующими о тех или иных клинических данных в истории болезни Льва Толстого (работы Сегалина, Руднева). В этих материа-

дах освещались те или иные клинические вопросы, но не полно, а некоторые вопросы оставались совершенно неосвещенными. В этой работе мы постараемся дать более полную клиническую картину на основании критического исследования дополнительных материалов и дать если не окончательный синтез всех этих материалов, то, по крайней мере, определить основные вехи для такого синтеза.

Здесь мы постараемся наметить эти вехи, где можно и в хронологическом порядке, дополнив новыми данными. Правда некоторые эпохи жизни Толстого остаются недостаточно освещенными клинически, но зато общая картина ясно определяется.

I. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Время появления судорожных припадков у Льва Толстого

Когда впервые в 1925 году нами были опубликованы и клинически освещены данные, говорящие с точной достоверностью о том, что Л. Толстой страдал судорожными припадками (Кл. Арх. Ген. и Одарн., вып. 1, т. 1), мы тогда оставляли вопрос открытым о времени появления этих припадков. Теперь, когда мы сделали более детальные обследования этого вопроса, мы можем на этот вопрос дать ответ совершенно определенный.

Мы имеем полное основание утверждать, что первые припадки судорожного характера появились у Толстого в раннем детстве, до 10 лет. В одной из наших работ («Записки сумасшедшего». Толстого как патографический документ «Кл. Арх. Ген. и Одарен», 1928 г. вып. 3-й) мы уже отмечали, что сам Толстой в «Записках сумасшедшего» отмечает время возникновения его позднейшего недуга. В этом документе он говорит: «До 35 лет я жил, и ничего за мной заметно не было. Исчло только в первом детстве, до 10 лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно, вот так»...

Здесь он описывает все, что предшествовало припадку, а затем самый припадок, с предшествующим приступом страха, в таких выражениях: «...Мне становится больно и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня...»

А в другой раз: «...и тут на меня нашло. Я стал рыдать и долго никто не мог меня успокоить. Вот эти то рыдания, это отчаяние были первым припадком моего теперешнего сумасшествия» (разрядка наша Г. С.).

Таким образом, сам Толстой видит связь его припадков детства и припадков «теперешнего сумасшествия».

Было бы ошибочно эти детские припадки истолковывать как чисто истерические. Это было бы верно, если бы мы не имели ряд других симптомов в истории болезни, указывающих на другую природу

болезни, где эти истерические или психогенные реакции входят компонентом, следовательно, истерические проявления не противоречат нашему диагнозу. Психогенность припадков, констатированная в нашей работе, лучше всего доказывается связью с этими детскими припадками, на что сам Толстой нам указывает.

О том, что припадки были знакомы ему в равном детстве говорит еще тот отрывок из «Детства», где он описывает впечатление ребенка от смерти матери.

Ребенок смотрит на свою мать, лежащую в гробу.

«Я не мог поверить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-по-малу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? Отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей?

«Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться... Одной из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, Бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; и только что я нагнулся, меня поразили страшный, присильный крик, исполненный такого ужаса, что, прожив я сто лет, я никогда его не забуду и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете, подле гроба, стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, сткинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойницы, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты».

Здесь мы имеем описание припадка; неизвестно только, был ли этот припадок истерический или эпилептический? Мережковский говорит, что этот отрывок он не мог описать из своих личных воспоминаний о смерти матери, ибо когда мать его умерла, ему было тогда 3 года, помнить он ее не мог и при смерти ее не присутствовал. По видимому, он для описания припадка в рассказе героя «Детства» использовал личные переживания припадков, иначе он бы не мог с такою правдивостью описать эту сцену и вообще вводить эту сцену, ибо описывал он все автобиографическое. Во всяком случае, из этого можно заключить, что автору «Детства» уже были хорошо знакомы истерические или какие либо другие припадки.

О том, что припадки были у него в детстве, мы имеем признание самого Толстого также и в «Детстве». На стр. 121 (глава XXVII) мы читаем: (при описании его впечатлений от трупа матери). «...Я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности развращало мечты. Наконец, воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности

сти тоже исчезло и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно, знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования... (разрядка наша).

Однако, этим судорожным припадком Толстой был подвержен не только в детские, но и в отроческие годы. Мы это видим из описания (в «Отрочестве», стр. 204, глава XVI) судорожного припадка после пережитых им целого ряда конфликтов с гувернером и с отцом.

«Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колени, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту...».

...«Он мой тиран... мучитель... умру... Никто меня не любит—едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии (разрядка наша). Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул. Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье».

Однако, как это мы увидим ниже из главы 4-й, этот припадок, описываемый в «Отрочестве» вырисовывается в связи с целым рядом новых других симптомов, о которых в «Детстве» не имеется никаких упоминаний.

Во-первых, описываемый припадок с конвульсиями последовал как разряд нарастающего аффекта. Самый аффект продолжался длительный период времени и разряжался, кроме того, еще до припадка импульсивными действиями и затмением сознания, несущим уже характер сумеречного состояния (о чем см. ниже в главе 4-й). Сам Толстой, описывая это сумеречное состояние дает этой главе название «Затмения» (см. главу XIV в «Отрочестве»). Эта глава нам определенно освещает эпилептоидный характер как самого судорожного припадка, так и всех тех психических переживаний, которые предшествовали этому припадку.

Но обо всем этом будет речь особо в последующих главах.

Здесь же пока мы должны констатировать, что судорожные припадки были свойственны Толстому еще в детские и отроческие годы, что хорошо согласуется с самопризнанием Толстого в «Записках сумасшедшего».

2. Аффективный характер личности („эпилептический характер“)

Уже в отроческие годы мы можем отметить развитие повышенной аффективности в характере Толстого. Вспыльчивость, чувствительность, лабильность настроений, слезливость—черты, которые уже с детства, а потом в отроческие годы, выпукло появляются в его поведении. Например, в «Отрочестве» мы имеем описание такой вспышки аффективности с агрессивными действиями во время ссоры со старшим братом (стр. 161, глава V). Такие же вспышки аффективности описаны дальше в главах XI—XVI. Здесь мы видим нарастание аффекта под

влиянием целого ряда детских неудач. Полученная единица за плохо выученный урок, угроза Мими пожаловаться бабушке на то, что он появился на лестнице, где ему нельзя было появляться, сломанный ключик от портфеля отца и, наконец, обида, что Сонечка предпочла другого мальчика в играх, а не его. Все эти неудачи вызвали в его психике бурную реакцию — столкновение с гувернером. В состоянии аффекта он теряет самообладание, делается агрессивным и импульсивным... «Мне хотелось буянить и сделать какую-нибудь молодецкую штуку», говорит Толстой. «Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу, я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St. Jerome, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

— Что с тобой делается? сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня,—закричал я на него сквозь слезы, никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны — прибавил я с каким то иступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St. Jerome с решительным и бледным лицом снова подошел ко мне, и не успев я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал обе мои руки и потащил куда то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи то ляжки, что в рот мне попадал чей то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих то ног, запах пыли и violette, которою душился St. Jerome.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана»...

Перенесав в наказание в темном чулане, на завтра он был приведен к бабушке с тем, чтобы просить повинную, но вместо этого его а ф ф е к т р а з р а з и л с я с у д о р о ж н ы м п р и п а д к о м.

Повидимому эти приступы патологического аффекта со всеми его последствиями не были единичными за время отрочества, ибо Толстой с тяжелым чувством и с неохотой останавливается на воспоминаниях отроческих годов. В главе XX он говорит:

«Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем т я ж е л е е и т р у д н е е (разрядка наша) становится она для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно-нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и подожгло начало новой, исполненной предести и поэзии поры юности».

В главе XXIV Толстой дальше отмечает: «Вообще, я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни — склонности к умствованию».

Из этого мы можем заключить, что период отрочества для него был самым тяжелым в смысле развития эпилептического характера. И только юность начинается более светлыми воспоминаниями. Повидимому, в юности вышеупомянутые патологические приступы резко уменьшаются. Это еще, конечно, не значит, что эпилептоидный характер психики остановился в своем развитии.

Патологический характер Толстого лучше всего сказывается в реакциях поведения его, когда он попадает в какую либо среду, безразлично какую: ему близкую по классовому состоянию, или же ему чуждую.

Когда Толстой попадает в среду студентов-однокурсников — сразу же сказывается ненормальность его поведения. В XXXVI главе «Юности» он об этом говорит так: «Я везде чувствовал связь, соединяющую это молодое общество, но с грустью чувствовал, что связь эта как то обошла меня, но это было только минутное впечатление. Вследствие его и досады порожденной им; напротив, я даже скоро нашел, что очень хорошо, что я не принадлежу ко всему этому обществу, что у меня должен быть свой кружок людей порядочных и усеялся на 3-й лавке, где сидели граф Б., барон З, князь Р., Ивин и другие господа в том же роде, из которых я был знаком с Ивиным и графом. Но и эти господа смотрели на меня так, что я чувствовал себя не совсем принадлежащим к их обществу».

Следовательно, он не мог сойтись даже с молодыми людьми его же среды, несмотря на то, что он хотел этого. Причина тут кроется именно в его ненормальном характере, в его заносчивости, в неумении естественно держать себя, ибо со всеми он держится «по лежмонтовски» (вспомним такое же поведение Лежмонта в студенческой среде).

«На следующих лекциях (говорит он дальше) я уже не чувствовал так сильно одиночества, познакомился со многими, жал руки, разговаривал, но между мной и товарищами настоящего сближения все-таки не делалось отчего то, и еще часто мне случалось в душе грустить и притворяться. С компанией Ивина и аристократов, как их все называли, я не мог сойтись потому, что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись, а они очень мало, повидимому, нуждались в моем знакомстве».

Таким образом про него можно сказать, что он «от своих отстал и к другим не пристал», он просто не был в состоянии приспособиться к какой либо среде. Единственная попытка сойтись с одним студентом (казеннокоштный студент Оперов) не из его среды окончилась вскоре вспышкой ссоры.

К профессорам и к их лекциям он также относился свысока, несерьезно для любознательного и способного юноши.

...«Я помню, что я на профессора распространял свой сатирический взгляд»...

Вопреки общепринятому приему студентов записывать лекции, он решает иначе: «На этой же лекции, решив, что записывание всего, что будет говорить всякий профессор, не нужно и даже было бы глупо, я держался этого правила до конца курса».

Вызванная его болезненной реакцией поведения замкнутость, угловатость, заносчивость, неестественная кичливость своим *somme il faut* и «демонической позой», чудачества, резко обращали на себя внимание окружающих.

Лица, наблюдавшие Толстого студентом, характеризуют его таким образом:

«...в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость (Н. Н. Загоскин, Историч. Вестник, 1894, январь).

«Изредка я тоже присутствовал на уроках, сторонясь от графа, с первого же раза оттолкнувшего меня напускной холодностью, щетилистыми волосами и презрительным выражением прищуренных глаз. В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собой».

«...его товарищи, видимым образом, относились к нему как к большому чудаку» (В. Назаров, Исторический Вестник, 1890, № 11). Затем, после, когда он бросил учение и поступил юнкером на военную службу, личность и характер вырисовываются все более и более устойчивыми.

Самый отъезд его на Кавказ, повидимому, был вызван каким-то перво-психическим кризисом, ибо по приезде на Кавказ он стал лечиться железистыми ваннами и к Ергольской от 5 июня он пишет так: «Я приехал жив и здоров, но немного грустный, к концу мая в Старогладковскую».

«...Я беру железистые ванны и более не чувствую боли в ногах. У меня всегда был ревматизм, но во время нашего путешествия по воде, я думаю, я еще простудился. Редко я так хорошо себя чувствовал, как теперь и, несмотря на сильные жары, я делаю много движений». Однако, это хорошее самочувствие, повидимому, у него менялось. В дневнике от 20 марта 1852 года он пишет: «с ноября месяца лечился, сидел целых два месяца, т. е. до нового года дома: это время я провел хотя и скучно, но спокойно *) и полезно. Январь я провел частью в дороге, частью в Старогладковской, писал, отделявая первую часть **), готовился к походу и был спокоен и хорош».

А 30-V — 1852 г. он пишет Ергольской: «я был бы вполне доволен этими двумя месяцами, если бы не хворал. А в общем нет худа без добра, моя болезнь дала мне предлог отправиться на лето в Пятигорск, откуда я Вам пишу. Я здесь уже 2 недели и веду образ жизни очень правильный и уединенный, благодаря чему доволен как своим здоровьем, так и поведением. Встаю в 4 часа, чтоб пойти пить воды, что продолжается до 6-ти. В 6 часов я беру ванну, и возвращаюсь домой... нет худа без добра, — когда я нездоров более усидчиво занимаюсь писаньем дру-

*) Здсь и дальше разрядка наша (Г. С.).

**) «Детство».

гого романа (разрядка наша), который я начал (из письма к Ергольской от 20 октября 1852 г.).

Из этих отрывков мы видим, что Толстой в течение 1851 и 1852 г.г. жалуетса на болезнь и лечится. В письмах, цитированных здесь нами и Ергольской, он все время отмсчает, что он «спокоен». Повидимому, до этого он находился в состоянии возбуждения. Следовательно, мы имеем основание думать, что Кавказ его привлек для лечения нервов, помимо службы в армии. Да и вряд ли можно было об'яснить иначе военную службу на фронте, как один из порывов неустойчивости эпилептоидной психики молодого Толстого.

Психическая неустойчивость, лабильность, вспыльчивость, изменчивость настроения, аффективность, оппозиционное настроение, задумчивость, говорливость, тщеславие и заносчивость—качества, которые проявлял молодой Толстой вообще, здесь на военной службе эти свойства не делали его годным к службе на фронте. Сослуживцы отзываются о нем таким образом: ...«говорил он хорошо, б ы с т р о , о с т р о у м н о и увлекал всех слушателей беседами и с п о р а м и».

«... он не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ с офицерами, но с начальством вечно находился в оппозиции».

«По временам на Толстого находили минуты грусти, хандры: тогда он избегал нашего общества. ...Иногда Толстой куда-то пропадал и только потом мы узнавали, что он находился на вылазках, как доброволец, или проигрывался в карты. И он нам каялся в грехах. Часто Толстой давал товарищам лист бумаги, на котором были набросаны окончательные рифмы. ...Мы должны были подбирать к ним остальные, начальные слова. Кончалось тем, что Толстой сам подбирал их, иногда в очень нецензурном смысле».

«В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством. Это был человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, и человек, не признававший дисциплины и начальства».

«Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку. Так как граф Толстой прибыл с Кавказа, то начальник штаба всей артиллерии Севастополя, генерал Крыжановский (впоследствии генерал-губернатор) назначил его командиром горной батареи».

«Назначение это было грубой ошибкой, так как Лев Николаевич не только имел мало понятия о службе, но никуда не годился, как командир отдельной части: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть».

«...Тут, во время командования горной батареей, у Толстого скоро и произошло первое серьезное столкновение с начальством».

«...Толстой был бременем для батарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: его никуда нельзя было командировать. В траншеи его не назначили; в минном деле он не участвовал. Кажется,

за Севастополь у него не было ни одного боевого ордена, хотя и во многих делах он участвовал как доброволец и был храбр...

— ...Любил выпить, но пьян никогда не был (разрядка везде наша) (А. В. Жаркевич, из воспоминаний о Л. Н. Толстом Одаховского).

Из этой характеристики мы видим, что возбужденный, запальчивый, агрессивный характер Толстого за этот период не только не унимался, но рос *crescendo*, ибо отъезд его из Севастополя был вызван, повидимому, его аффективным характером и, кроме того, по приезду в Петербург его возбуждение и агрессивность еще больше увеличивались. О его пребывании в Петербурге современники отзывались таким образом:

«...В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса, из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот все время так, — говорил с усмешкой Тургенев. Вернулся из Севастополя с батареей, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты (во всю ночь); а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой.

«В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слышал о нем, как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства. Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений*). В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипящий и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

«...Наем постоянного жительства в Петербурге необъясним был для меня; с первых же дней Петербург не только сделался ему несимпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно. Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника», и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно. Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героиня ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало-бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. У него уже тогда вырабатывался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такой ярко-

*) Разрядка наша (Г. С.).

стью в романе «Анна Каренина». Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника.

«Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайности. Я находился в соседней комнате, когда раз начался у него спор с Тургеневым; услышав крики, я вышел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило не мало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался неизвестным. Зима эта была первой и последнею, проведенною Л. Н. Толстым в Петербурге; но дождавшись весны, он уехал в Москву и затем поселился в Ясной Поляне.

(Разрядка везде наша Г. С.). (Д. В. Григорович).

«Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем:

— Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством.

— Не заметил я этого в Толстом, — возразил Панаев.

— Ну, да ты много чего не замечаешь, — ответил Тургенев.

«Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на дон-жуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес:

— Хотя в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство.

«И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил: «И все это зверство, как подумать, из одного желания получить отличие» (Панаев). Если мы даже и примем во внимание некоторое пристрастие Тургенева в оценке личности и поведения Толстого, все же бросается в глаза: современники, которые сталкиваются с Толстым — все в один голос отмечают необычайное возбуждение и ненормальность его характера за этот период.

Повидимому, этот период возбуждения эпилептического характера сменился периодом депрессии, упадка этого возбуждения «хандрой, тоской», на что он также жаловался, или какими либо другими

эквивалентами; он уезжает за границу, главный мотив — лечение. Ездил он несколько раз (2 или 3 раза) и, наконец, в 62 году, он, по совету врачей, едет лечиться на кумыс в Самарскую губернию.

Принимая во внимание заявление самого Толстого, что в 35 лет у него появилось «настоящее сумасшествие» (о котором он говорит в «Записках сумасшедшего») и принимая во внимание, что в этом же году (т. е. 1862 г.) он уехал лечиться на кумыс и сопоставляя все это, мы имеем основание утверждать, что, видимо, в этом то году у него появились те судорожные припадки, которые у него были в детстве, а потом стали сильнее развиваться; тем более мы имеем основание это утверждать, что, помимо усердного лечения, этот период отличается упадочностью его творчества. Критика также отметила этот период, как период упадка, о чем будет речь ниже. Возможно, что это обстоятельство заставило ускорить намеченную женитьбу, которая совершается в том же году, т. е. в 1862 г.

Однако, семейная жизнь, несмотря на «счастливое», как будто, начало супружеской жизни, не сглаживает аффективно-агрессивный характер Толстого, наоборот: он все более и более развивается. Уже с самого начала супружеской жизни Толстой ссорится с Софьей Андреевной, о чем он сам свидетельствует в «Анне Карениной». Упоминая тут же после женитьбы о разочаровании Левина в супружеской жизни, он как одну из причин этого разочарования указывает на ссоры супругов.

«...Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между ним и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных и вдруг с первых же дней они поссорились. Ссоры эти, как и первая ссора, вызывались, по словам самого Толстого, всякими ничтожными причинами и, конечно, объяснялись не только ненормальным характером Толстого, а также отчасти и самой Софьи Андреевны. Об этом говорит сам Толстой, и таким образом (стр. 376 Анны Карениной): «они помирились. Она, сознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое, удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись и даже особенно часто, по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто от того, что они не знали еще, что друг для друга важно и оттого, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался, но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных, по ничтожности, причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они поссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоилась. Но все таки это первое время было тяжелое для них время.

«Во все это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергивание в ту и другую сторону той цепи, которую

они были связаны. Вообще, тот медовый месяц, т. е. месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унижительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа»... (Разрядка везде наша Г. С.). Этот отрывок нам многое говорит и многое объясняет, почему супружеская жизнь Толстого не могла дать ему то, что он ожидал. «Ненормальное настроение духа», «постыдные обстоятельства этого нездорового времени» в первый «медовый» месяц женившихся по любви супругов, есть несомненно факт бросающийся в глаза. Это не бытовая мелочь обыденной жизни, если Толстой говорит о своем «медовом месяце», как о самом тяжелом и унижительном времени их супружеской жизни, что в последующей жизни приходилось вычеркнуть из памяти, как что то уродливо-болезненное. Тут невольно напрашивается мысль о том, что не только мелкие обстоятельства вызывали болезненные аффективные разряды его психики, а также ненормальные сексуальные отношения в половой жизни обоих супругов. Иначе нельзя понять резкую оценку этого времени, и что подразумевал Толстой в словах «постыдные обстоятельства этого нездорового времени». Если бы он только подразумевал одни ссоры и свои аффективные выпадки, то ведь эти ссоры продолжались и дальше и ничего специфического не представляли для «медового месяца». Но раз он говорит о каких то «постыдных обстоятельствах этого нездорового времени», как о чем то специфическом этого времени, которое потом как то сгладилось, то нет сомнения, что здесь играли роль какие то специфические сексуальные ненормальности, превратившие «медовый месяц» во что то тяжелое, что и заставляло, по его словам, вычеркивать все из памяти супругов об этом времени.

Однако, причиной этих ссор и аффективных выпадков являлись не только ненормальный характер Толстого и ненормальная его сексуальность, но также и истерический характер Софьи Андреевны. Как известно, истеричный характер был констатирован в свое время врачами, которые были вызваны во время попытки Софьи Андреевны броситься в пруд с целью самоубийства. (См. дневник Гольденвейзера).

Впрочем, об этом красноречиво говорит нам сам Толстой. После первой ссоры с женой он говорит:

«Тут только в первый раз он ясно понял то, что он не понимал, когда после венца повел ее в церковь. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы

найти виновного и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя»...

«...Как человек в полусне, томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место — он сам...» (Разрядка наша).

Иначе говоря, Софья Андреевна, как особа с истерическим характером, проявляла ту же самую аффективность, запальчивость, а иногда и сварливость, которые были свойственны и ему, следовательно, ее патологический характер был как бы отражением его патологического характера, отсюда и его вывод: «больное место — он сам». Он сам, с одной стороны, и в буквальном смысле «больное место», с другой стороны, патологический характер Софьи Андреевны — отражение его характера — есть также (в переносном смысле) «больное место» его же характера, но только в лице другого человека.

Теперь мы перейдем к вопросу о патологии сексуальной жизни Толстого, которая, в сущности тоже была причиной того, что его «медовый месяц» был для супругов тяжелым воспоминанием.

Что сексуальная жизнь Толстого в период его молодости была ненормальной, мы знаем по его же собственной оценке холостой жизни. Он сам называл этот период как период «грубой распущенности» и период половых излишеств. Но все таки мы не знаем, какой характер носили эти излишества, что в них бытовое и что патологическое.

Вышеприведенный отрывок из «Анны Карениной» нам уже кое что говорит (о чем речь будет ниже), но более подробно о ненормальностях сексуальной жизни говорит он нам в «Крейцеровой сонате». «Крейцорова соната» сама по себе есть замечательнейший патологический документ сексуальной жизни эпилептоида. Такое копанье в «грязном белье» своих сексуальных переживаний, такое упоение и, можно сказать, экстатическое увлечение в обнажении себя и своей половой физиологии до крайности, есть черта эпилептоида, находящего наслаждение в диническом обнажении себя в самом непривлекательном свете. Вспомним ту же самую страсть Достоевского.

К сожалению, мы не можем подробно остановиться на этом интереснейшем для психопатолога документе, поскольку этого вопроса, мы касаемся здесь частично.

Итак, приведем несколько отрывков из «Крейцеровой сонаты», после чего осветим подчеркнутые нами места в этих отрывках.

«Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на 3-й или на 4-й день я застал жену скучною, стал спрашивать о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать: она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умоляю

чал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, почти ненависть ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. Как? что? думал я. Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она! Я пробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успевая оглянуться, как раздражение захватило и меня и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, т. е. два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только следствие прекращения чувственности, обнаружившее наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, т. е. влюблением.

«И я думал, что мы поссорились и помирились, и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нежными друг к другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще сильнее, чем первая. — «Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет», думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал, будто бы, свое, и исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, неестественное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, — и пошло опять. И в словах, и в выражении лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, т. е. чувственностью, и я утешался мыслью, что эти две ссоры

были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но от самих себя, сами себе не признаются в этом.

«...Началось с первых дней и продолжалось все время, все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я пропал, что вышло не то, чего я ожидал; что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаваться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но и от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделывать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примирения. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох! гадко и теперь вспомнить — после самых жестоких слов друг другу, в друг молча взгляды, улыбки, поцелуи, об'ятья... Фу, мерзость! Как я мог не видеть все этой гадости этого тогда...»

«...Ведь что главное погано, — начал он, — предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь не даром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам не только не стыдясь их, но почему то гордясь возможностью этих физических излишеств, не думая при этом несколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу...»

«...Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как взаимная ненависть сообщи́ков преступления — и за подстрекательство, и за участие в преступлении.»

«...Все произошло от того, что между нами была страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для провозведения кризиса. Ссоры между нами становились последнее время

чем то страшным и были особенно поразительны, сменяясь той же напряженной животной страстностью.»

«...Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись; или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.»

Итак, прочитавши эти места в «Крейцеровой сонате», невольно напрашивается мысль, какая кошмарная сексуальная жизнь должна была быть у супругов, если Толстой устами героя приходит к заключению: «все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать... или убить самих себя, или своих жен». И действительно, он был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась. Можно ли тут говорить о бытовых ссорах после этого? Ясно, что тут мы имеем дело с резко выраженными проявлениями патологической сексуальности.

В чем эта патология здесь заключается, мы имеем определенный ответ Толстого: прежде всего он кается в своих половых излишествах, в чрезвычайно повышенной Libido, но опять таки дело тут не в этом. Этим ведь он отличался и в холостой жизни. В супружеской жизни не это составляло суть его душевной трагедии. Дело тут в том, что этому libido всегда предшествовали специфические эксцессы, об этом он нам сам красноречиво поясняет. Сначала его поражает — «откуда началось наше озлобление друг к другу, откуда «то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу», что становилось «чем то страшным» и было особенно поразительно, сменяясь той же напряженной животной страстностью... после самых жестоких слов друг другу, вдруг молча, взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! как я мог не видеть всей гадости этого тогда...» Впервые время он не понимал, что это было бессознательным проявлением его садистической сексуальности. Он думал, что это просто обычная ссора. Но потом, когда это стало проявляться все чаще и чаще, он «понял, что враждебное отношение было нашим нормальным отношением», которое «очень скоро» сменялось «перегонной чувственностью». Вот почему жена его, не понявши в чем дело, на 3-й или 4-й день «медового месяца» «самыми ядовитыми словами начала упрекать его в жестокости и эгоизме.»

После этого нам делается понятным и объяснение Толстого в «Анне Карениной» (см. выше приведенные цитаты оттуда же). «Столкновения эти происходили часто от того, что они не знали еще, что друг для друга важно» в половой жизни, т. е. просто не знали, как приспособиться друг к другу в половом отношении. Напомним, кстати, тут же, что Толстой, говоря о причинах разочарования супружеской жизнью Левина, говорит: «Другое разочарование и о ч а р о в а н и е были ссоры», т. е. ссоры служили и причиной разочарования и причиной «очарования» — возбуждения libido.

Все это дает нам основание говорить о садистических наклонностях в сексуальной жизни Толстого.

Помимо патологической сексуальности, тяжесть семейной обстановки усугублялась патологической ревностью. Эта ревность доводила Толстого до такого бредового состояния, что делала его жизнь прямо невозможной. Как развивался этот комплекс переживаний, мы имеем прекрасную исповедь в той же «Крейцеровой Сонате». Приведем несколько выдержек для иллюстрации.

«... С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица; т. е. мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления, в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее, женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые, не переставая, терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, т. е. без нравственно».

«... Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более, что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей и выкормила прекрасно».

«... Но и не в этом дело. Я только говорю про то, что она прекрасно сама кормила детей, и что это пошение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и се. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех, кроме первого, она кормила сама».

Из этих уже отрывков видно, как кошмарна была эта ревность, если супруг из боязни «женского кокетства», подавлял его сознательно непрерывным материнством (беременность, кормление), ибо, по его признанию, — «пошение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности». Каково же было его возмущение, когда «доктора эти ми-

лые» запретили ей кормить ребенка, и тем лишили его спокойствия. Недаром он так презирал докторов! Ревность его чудовищна и, как увидим ниже, доходила у него до бредового экстаза. Этот бредовой экстаз развивался у него постепенно и особенно сильно, повидимому, проявлялся в периоды сумеречных состояний. В «Крейцеровой сонате» он использовал этот комплекс переживания, чтобы показать, как этот комплекс сумеречного состояния может довести человека, страдающего бредом ревности, до убийства и самоубийства (об этом см. ниже).

Освещение аффективного характера Толстого было бы неполно, если бы мы не дали здесь отзывев о его характере со стороны его детей.

Из нижеприводимых отрывков воспоминаний Льва Львовича, сына Толстого, мы можем довольно определенно представить себе картину этой аффективно-раздражительной психики Льва Толстого.

...«Если он хорошо работал, все весь день шло хорошо, все в семье были веселы и счастливы,—если нет, то темное облако покрывало нашу жизнь».

...«Я вспоминаю, что каждый вечер управляющий приходил к нему, разговаривал с ним о делах, и часто мой отец так сердился, что бедный управляющий не знал, что сказать и уходил, покачивая головой».

(Воспоминания Л. Л. Толстого «Правда о моем отце» — Ленинград, 1924 г.).

...«Почти каждый год Фет приезжал в Ясную. Отец был рад его видеть. Фет говорил мало и даже как-то трудно. Иногда, прежде чем произнести слово, он долго мычал, что было забавно для нас, детей, но мой отец слушал его с живым интересом, хотя редко, даже почти никогда не обходилось без ссоры между ними». (Там же, стр. 30).

...«Однажды отец в порыве ярости кричал на него (воспитателя швейцарца).

«Я вас выброшу из окна, если вы будете вести себя подобным образом».

...«Отец любил сам давать уроки математики...

Он задавал нам задачи и горе нам, если мы их не понимали. Тогда он сердился, кричал на нас. Его крик сбивал нас с толку, и мы уже больше ничего не понимали». (Там же, стр. 48).

«...Иногда таким исключением была болезнь детей, недоразумения с прислугой, или ссоры между родителями, всегда бывшие мне неприятными».

...«Я вспоминаю довольно серьезную ссору между отцом и матерью. Я тогда примирил их. Что же было причиной ссоры? Я не знаю, быть может отец был недоволен чем-нибудь, что сказала мать, быть может просто рассердился он на нее, чтоб дать выход своему плохому настроению. Он был очень сердит и кричал своим громким, неприятным голосом. Еще ребен-

ком питал я отвращение к этому голосу. Мать, плача, защищалась.» (Там же, стр. 49).

...«Я не любил его, когда он ссорился с мамой». (Там же, стр. 86).

...«Серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда, и ищущий новых мыслей и определений — так он жил между нами, удивленный со своей громадной работой».

(Описание времени кризиса. Там же, стр. 97).

...«С детства привык к уважению и страху перед ним». (Стр. 105).

Из этих отзывов сына о своем отце мы определенно видим аффективный характер отца, так-что «с детства привык к страху перед ним», ибо «серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда» отец часто ссорился. Ссорился со своей женой, ссорился с друзьями, с прислугой и даже на детей своих он «сердился, кричал» настолько, что вызывает у сына такую оценку: «горе нам, если мы их (т. е. заданных им задач) не понимали».

Между прочим, сам Лев Толстой довольно хорошо охарактеризовал свою аффективно раздражительную натуру с ее переходами в сенситивную слезливую в одном полупшуточном произведении под названием: «Скорбный лист душевно больных ясно-полянского госпиталя»), где он дает историю болезни всех обитателей Ясной Поляны, в шутливой форме. Надо сказать, что под этой шуткой дается меткая характеристика.

Характеристикой своей личности начинается этот «скорбный лист» в таком образом:

№ 1. (Лев Николаевич). Сангвинического свойства принадлежит к отделению мирных. Большой одержим манией, называемой немецкими психиатрами Weltverbesserungs wahn». Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словами. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная много-речивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности.

Наконец, в «Записках сумасшедшего» Толстой прямо указывает на аффективность как на основу его болезненного характера:

«Сегодня возили меня свидетелествовать... и мнения разделились... Они признали меня подверженным аффектам и еще что то такое, но в здравом уме» **)

И так, все эти данные нам определенно говорят об аффективно-раздражительном характере Льва Толстого, и несомненно его поведение соответствующим образом окрашивалось этой аффективностью.

*) Илья Львович Толстой, „Мои воспоминания“ стр. 97, изд. Ладьяникова. Берлин.

**) Изр. д-ра Гезе наша (Г. С.)

3. Приступы патологического изменения настроения

Приступы депрессии

Как мы видели выше в главе 2-й, основной фон психики Толстого был аффективно-агрессивный. Степень напряжения этой аффективности в различные эпохи его жизни подвергалась тем или иным колебаниям. В известные эпохи, как мы увидим дальше, эта аффективность нарастает и разряжается припадком судорожным или эквивалентом.

Однако, при изучении характера Толстого мы можем также отметить, что его основная аффективно-агрессивная установка психики временами подвергалась еще и другим изменениям настроения с явно патологической окраской.

Время от времени у него были приступы резкой депрессии и тоскливости, которая эпизодически вклинивалась в его психику, как что-то тяжелое.

Надо здесь же подчеркнуть, что эти депрессивные состояния были не просто обычными депрессиями, а носили также эпилептоидный характер. В тяжелых случаях эти депрессии сопровождались теми или другими психическими эквивалентами. Чаще всего эти депрессии сопровождались приступами страха смерти. Обо всех этих явлениях ниже будет речь особо. Здесь же отметим, что все эти депрессии, с теми или другими сопровождавшимися симптомами, носили характер эпизодов или интермиссий, которые вклинивались в аффективную психику Толстого как форменные периоды психических провалов. Личность Толстого, его поведение и творчество резко менялись в эти периоды.

Эти приступы тоски и депрессии у него также начались еще с отрочества, повидимому, были в юности не в такой резкой степени, а затем в период половой зрелости, в годы холостой жизни они все чаще и чаще наступали и делались все тяжелее и тяжелее, также и в период семейной жизни.

Наконец, в период перелома эти приступы сопровождались уже тяжелыми припадками патологического страха смерти, названными им «Арамаасской тоской». Об этих приступах патологического страха смерти будет особо речь ниже. Здесь нас интересуют эти приступы, насколько они давали характерные изменения его основного настроения.

Что еще в молодые годы были у него эти приступы, правда, еще в сравнительно легкой форме, это мы видим из следующих данных.

Так, по приезду на Кавказ (после выхода из университета) он пишет от 5 июля Ергольской:

«Я приехал, жив и здоров, но немного грустным». «По временам на Толстого находили минуты грусти, хандры: тогда он избегал нашего общества». Так пишет, например, в своих воспоминаниях о Толстом о времени его военной службы А. В. Жаркевич (А. В. Жаркевич, из воспоминаний о Л. Н. Толстом Одаховского).

Такого рода депрессии резко меняли его настроение. В начале 3-го десятилетия жизни, повидимому, эти депрессии не были тяжелыми, но по мере того, как росла его аффективность и по мере того, как он делался старше, эти приступы стали все более и более тяжелыми и в период 70-х годов достигали наибольшей силы.

О тяжести этих приступов в начале 80-х годов говорят нам следующие данные Софьи Андреевны и самого Толстого:

«...Завтра месяц, как мы тут и я никому ни слова не писала. Первые две недели я ежедневно плакала, потому что Лёвочка впадал не только в уныние, но даже в какую то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сама я плакала иногда, и я думала просто, что сума сойду. (Разр. наша). Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Потом он поехал в Тверскую губ., виделся там со старыми знакомыми, Бакуниными (дом либерально-художественно-земско-литературный), потом ездил также в деревню к какому то раскольнику, христианину и, когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие тихие комнатки за 6 руб. в месяц, потом уходит на Девичье поле, переезжает реку на Воробьевы горы и там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это здорово и весело...» (С.А. Толстая—Т. А. Кузьминской, 14 октября 1881 г. из Москвы).

В мае 1883 года Толстой поехал в свое Самарское имение, где пробыл свыше 2-х месяцев. Оттуда он пишет:

«...Второе утро на хуторе. Мне совсем не весело и не приятно. Даже уныло и грустно...

«...Я в серьезном и невеселом, но спокойном духе, и не могу жить без работы. Вчера проболтался день и стало стыдно и гадко и нынче занимаюсь.

«...Мне хоть и совестно и противно думать о своем поганом теле, но кумыс, знаю, что мне будет полезен, главное тем, что исправит желудок и потом нервы и расположение духа, (разрядка наша) и я буду способен больше делать, пока жив и потому хотелось бы поить больше; но боюсь, что не выдержу...» (Л. Толстой — С.А. Толстой, 25 мая 1883 г., из Самарского имения.)

Давая оценку этим патологическим переживаниям депрессии и патологического страха смерти, мы можем сказать следующее:

Изучая эти периоды депрессии и провалы в психике по эпохам мы можем установить определенную закономерность их появления, присущую таким эпилептоидам. Эта закономерность выражается в следующем: основной фон психического тонуса до 48 летнего возраста является преобладающим аффективно-возбужденным состоянием. Время от времени в это состояние перманентного возбуждения эпизодически вклиниваются в виде интермиссии, депрессии, носящие характер «провалов».

Таких длительных депрессий можно отметить до 48 летнего возраста два раза: с 1858 по 1862 г. — первый депрессивный период и с 1868 по 1872 — 2-й депрессивный период. С 1877 депрессия становится уже перманентной, а вскоре начинает меняться и самый характер депрессии: сначала в депрессивно-раздражительный (напр., в 80—85 годы), а затем уже превращается в депрессивное «смирение». Это последнее состояние длится до конца его жизни.

Последняя эпоха «смирения» настолько изменила психический облик Толстого, что он буквально стал неузнаваем даже для близких. Так, например, брат его, Сергей Николаевич, поражаясь этой переменой, говорил о нем Льву Львовичу (сыну Толстого): «Ты знаешь, я не разделяю взглядов твоего отца, но не могу отказать в справедливости в отношении всего того, что касается его личности. Посмотри только, как он изменился, каким он стал мягким и хорошим». (Разрядка наша Г. С.).

Если мы взглянем на депрессивный компонент в целом, то мы можем отметить следующее: Если в 1-ю эпоху (в период перманентного возбуждения) приступы депрессии вклинивались, как эпизоды, то в последующую эпоху, после перелома, приступы депрессии увеличиваются, делаются все более и более длительными и становятся, наконец, на место компонента возбуждения (как бы вытесняя последнее), делаются перманентными. •

Компонент возбуждения, с другой стороны, все более и более наступает реже — укорачивается также по длительности, наконец, на фоне постоянной депрессии становится эпизодическим явлением: вклинивается, подобно тому, как в эпоху до 48 лет вклинивался депрессивный компонент. Оба компонента как бы поменялись ролями.

Ниже мы увидим, какую громадную роль сыграли эти «черные провалы» психики в жизни и творчестве Толстого. Некоторое графическое представление об этих соотношениях между компонентом депрессии и компонентом возбуждения дает ниже приведенная кривая в главе 1-й II части этой работы.

В итоге создается следующее соотношение между этими 2-мя компонентами: основной компонент, доминировавший до 48 летнего возраста, был компонент эпилептоидного возбуждения. После 48 лет — компонент эпилептоидной депрессии. В период господства возбуждения депрессии вклиниваются эпизодически, как интермиссии. В период господства депрессии, возбуждение, в свою очередь, вклинивается эпизодически, так же, как интермиссии. Между обоими компонентами создаются обратные соотношения. Пока господствует возбуждение, тем реже приступы депрессии. Чем более господствует депрессия, тем более возбуждение вытесняется и сходит постепенно на нет.

Помимо депрессии и возбуждения, время от времени фактором патологического изменения настроения служили также приступы психической ауры и экстаза. Но о них будет речь особо в следующих главах.

4. Приступы сумеречных состояний у Льва Толстого

О том, что приступы сумеречного состояния действительно были у Льва Толстого в довольно тяжелой степени, настолько, что он мог в течение суток автоматически совершать самые наисложнейшие поступки, переживать сложные комплексы жизни, совершенно не сознавая этого, говорит нам целый ряд данных.

Уже в отрочестве ему были знакомы эти переживания. Так, он в «Отрочестве» пишет:

«Я читал где то, что дети от 12 до 14 лет, т. е. находящиеся в переходном возрасте, бывают особенно склонны к поджигательству и даже к убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, но так, из любопытства, из безсознательной потребности деятельности *). Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свой умственный взор, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обслуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, мать, отец, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли — рассеянности почти — крестьянский паренек лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора, подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства, человек находит какое то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели нажать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «а ну-ка, любезный, пойдём?»

«Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St. I. г. me сошел вниз, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда (Отрочество, т. 1., стр. 150—151).

Из этого самого признания Толстого мы можем сделать следующие выводы:

*) Разрядка здесь и дальше наша (Г. С.).

Толстому еще в отроческие годы были свойственны переживания сумеречного состояния.

Эти состояния характеризуются как переживания бессознательного состояния словами: «временные отсутствия мысли» и «инстинктивного любопытства», «бессознательная потребность деятельности», «прекращая в себе совершенно деятельность ума». «В такие минуты, когда мысль не обслуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются п л о т с к и е и н с т и н к т ы».

Эти переживания суть те сумеречные состояния, во время которых совершаются автоматические импульсивные действия. Вот почему Толстой мог говорить: «Вспомняя свое отрочество, и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я ясно понимал возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, из бессознательной потребности деятельности...» Из этой же «бессознательной потребности деятельности» Толстому «понятно», почему можно «без малейшего колебания» и страха, с улыбкой любопытства, раскладывать и раздувать огонь под собственным домом, в котором спят его братья, мать, отец, которых он нежно любит...» Также ему, Толстому, «понятно» почему «крестьянский паренё лет семнадцати, осматривая дёзвие только что отточенного топора, подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик-отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи»...

Все эти переживания и влечения «понятны» только эпилептикам. Для нормальных детей и вообще для нормальных людей поджоги и убийства отца своего из «любопытства» нельзя считать нормальными. Толстой переживал несомненно эти состояния и повидимому склонен был к таким импульсивным действиям в сумеречном состоянии. Таких сумеречных состояний им описан целый ряд в его произведениях.

Так, например, во время смерти брата его в 1861 году он пережил такое состояние и сравнивает с таким же переживанием сумеречного состояния, во время первых родов его жены.

Точно такое же состояние он переживает в 1862 году накануне того дня, когда он сделался женихом.

О том, что Толстой находился в сумеречном состоянии накануне того дня, когда он сделался женихом, говорит нам тот отрывок из «Анны Карениной», где описывается, как Левин (т. е. сам Толстой) в ожидании ответа от родителей Кити, провел ночь перед этим днем.

«Всю эту ночь и утро (читаем мы на стр. 256 этого романа) Л е в и н ж и л с о в е р ш е н н о б е з с о з н а т е л ь н о и ч у в с т в о в а л с е б я с о в е р ш е н н о и з ' я т ы м и з у с л о в и й м а т е р и а л ь н о й ж и з н и.*) Он не ел целый день,

*) Характерное выражение для Толстого в случаях, когда он описывает состояние бессознательности или ненормальности, он всегда обозначает как состояние «из'ятия из условий материальной жизни», т. е. его отрыв от реальной жизни в том или ином патологическом состоянии (экстаза, сумеречного состояния, бредового состояния). Также переживания ауры он обозначал, как что-то «духовное», «высшее» и придавал этим состояниям высшее значение (об этом будет речь ниже).

не спал две ночи, провет несколько часов раздетый на морозе — и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мысли и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если-б это понадобилось» (разрядка наша).

Здесь мы имеем типичнейшую картину сумеречного состояния, когда человек может не спать ночами, не есть целыми днями, ходить раздетым на морозе, двигаться без усилия целыми днями без усталости, как автомат, и совершенно не помнить себя. Мало того, он может ходить по опаснейшим местам (по карнизам 3-этажных домов, как это делают лунатики). Еще более: он чувствовал, что он может лететь вверх, сдвигать целые горы...

Тут невольно напрашивается на сравнение то место у Достоевского, где он описывает состояние психической ауры перед припадком, когда эпилептик чувствует, что он «летит в рай» и что он все может сделать, что в нормальном состоянии (т. е., по терминологии Толстого, «в условиях материальной жизни») просто нелепость.

Далее в этом же отрывке Толстой описывает как Левин пережил патологический экстаз в сумеречном состоянии:

«Весь мир показался совершенно другим. То, что всегда казалось ему отвратительным или безразличным, делается для него приятным, «милым», даже совершенством. Попад в тот же вечер на заседание с Сергеем Ивановичем, где члены между собой поссорились по поводу каких то отчислений, каких то сумм и о проведении каких то труб, он же сам говорит о себе: «Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, ничего этого не было и что они вовсе не ссорились, а что они были все такие добрые, славные люди и так все это хорошо, мило шло между ними. Никому они не мешали и всем было приятно» (это в то время, когда все ссорились).

Этот экстаз счастливого состояния, когда все субъективно оценивается совершенно в противоположную сторону, несмотря на очевидную нелепость, не есть простая повышенная эйфория «нормально» влюбленного. Сопровождаемая в таких случаях гипермнезия психических способностей была, очевидно, и здесь у Толстого.

Описывая переживания Левина во время вышеупомянутого заседания, Лев Толстой говорит дальше:

«Замечательно было для Левина то, что они все (т. е. члены заседания ему совершенно незнакомые люди (за исключением некоторых для него ныне были видны насквозь и помаленьким, прежде незаметным признакам он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые (разрядка наша).

Для творческого психомеханизма Толстого здесь вскрывается роль гипермнезии (эпилептического типа) в его художественном творчестве. Любовь Толстого ко всем мелочам психики, его любовь к деталям совершенно незаметным нам, объясняется тем, что в состоянии гипермнезии по этим незаметным мелочам он «узнавал душу каждого и все ему были видны насквозь».

К этому вопросу мы еще вернемся. Здесь же сейчас напомним читателю, что нечто аналогичное переживал Достоевский в своих гипермнезиях.

Это состояние патологического экстаза является причиной того, что кого бы он ни видел и что бы он ни видел — все «хорошо», все «добрые», все «милые», все гармонично на свете, весь мир — это рай земной.

Отправляясь в тот же вечер после заседания к Свияжскому, к его знакомому пить чай, он, просидев у него до 3-х часов ночи в дамском обществе, у Свияжского в первый раз, повидимому, он не замечает того (говорит Толстой), что он надоел им ужасно и что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Всех, кого он ни встречал в эту ночь и в следующее утро, все казались ему необычайно добрыми. Лакей в гостинице Егор: «Удивительно добрый человек». Встречаемые им извозчики утром (в следующее за двумя бессонными ночами, не евши и не пивши за все это время) они все были «счастливыми лицами», ибо «извозчики, очевидно, все знали». Взятый им извозчик «был прелестен», лакей был «очень добрый и хороший человек». Все, что он видел, все «неземные существа». Даже сайки, которые он видел в окне булочной, «неземные существа». Об этом мы читаем (там же, стр. 256). ...«И что он видел тогда, того после уже он никогда не видел».

Тут невольно напрашивается мысль что он галлюцинировал, ибо невольно задает себе вопрос читатель: что же он такое видел тогда, что «после уже он никогда не видал». И сам Толстой подчеркивает здесь необычайность того, что он «видел».

«В особенности дети (читаем мы дальше там же),шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и с а й к и, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его (курсив выше и здесь везде наш). Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости».

Если сайки делаются «неземными существами» и если это есть то, «что он видел тогда» и то, что «после уже он никогда не видал» и если это все так его тронуло, что он заплакал от неомыслительности и радости и если об этом трактуется, как о чем-то сверх-естественном у такого реалиста, как Толстой, тут вряд ли можно сомневаться в том, что здесь мы имеем дело с переживанием зрительной галлюцинации, иначе этому не придавалось бы такое необычное значение. Весь контекст этого отрывка со всеми предыдущими частями без такого толкования не укладывается в здравый смысл. Восторженное и «счастливое состояние обычно влюбленного человека, какую бы эйфорию он ни переживал, если он эту эйфорию переживает в пределах известной нормы, не может дойти до такого состояния, чтобы даже сайки были «неземными существами» и чтобы придавалось то значение, которое приписывалось этому переживанию Толстым (в словах: «что он видел тогда, того после уже никогда не видал»).

Тут нам делается понятной запись Толстого в его дневнике за несколько дней до 16 сентября (день, когда он сделал предложение С. А. Берс). 12 сентября 1862 года в дневнике он пишет:

«Я влюблен, как не думал, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, если это так продолжится» (разр. наша). Далее, 13 сентября 1862 г., он в дневнике отмечает: «Завтра пойду, как встану и все скажу или застрелюсь» (разр. наша). (Из автобиографии С. А. Толстой. Альманах «Начала», вып. I, 1921 г.) Повидимому, эта запись относится к переживанию этого периода, но только до наступления экстаза.

Сопоставляя все это, вспомним то место из его «Записок сумасшедшего», где он говорит: «до 35 лет я жил и ничего за мной заметно не было. Но что только в первом детстве, до 10 лет, было со мною, что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно». Вспомним также, что 34 лет он женился и переживал все то, что описывалось выше, накануне его женитьбы, т. е. как раз то время, на которое указывает Толстой в «Записках сумасшедшего»: что до 35 лет, (повидимому, подразумевая себя в 34 летнем возрасте накануне женитьбы) — «Я жил и ничего за мной заметно не было». Он считает, повидимому, это болезненное состояние, пережитое в эту пору 34—35 лет, как начало обострения той болезни, которую он связывает с детскими припадками. Отсюда мы можем заключить, что началом своей болезни он считает эти пережитые им накануне сумеречные состояния с галлюцинациями, или же в это время у него снова начались судорожные припадки, которые он связывает с детскими припадками. Это также вяжется с тем, что он в том же году (1862), получив по военной службе отставку, поехал на кумыс в Самарскую губернию лечиться.

В письме А. А. Толстой от 7 августа 1862 г. он писал:

«...К весне я ослабел, доктор велел мне ехать на кумыс. Я вышел в отставку и только желал удержать силы на продолжение дела школ...

Подробное изображение приступа сумеречного состояния мы имеем также при описании родов Кити в «Анне Карениной». Приведем его здесь:

«С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все мысли и чувства, твердо, не расстраивая жену, а, напротив, успокаивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по вопросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и удерживать свое сердце в руках часов пять и ему это казалось возможным. Но когда он вернулся от доктора и увидел опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости, помоги», вздыхать и поднимать голову кверху и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит, так мучительно ему было. А прошел только час,

«Но после этого часа прошел еще час, два, три, все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения и положение было все то же. И он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что сердце его вот-вот сейчас разорвется от страдания. Но проходили еще минуты, часы и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более.

«Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина. Он потерял сознание времени. Те минуты, — те минуты, когда она призывала его к себе и он держал ее за потную то сжимающую с необыкновенной силой, то отталкивающую его руку, — казались ему минутами. Он был удивлен, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами и он узнал, что было уже пять часов вечера. Если бы ему сказали, что теперь только десять часов утра, он также мало был бы удивлен. Где он был в это время, он также мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню, красную, напряженную, с распутившимися бровями седых волос и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы; видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы, и Лизавету Петровну с твердым, решительным и успокаивающим лицом, и старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом. Но как они проходили и выходили, где они были, он не знал. Княгиня была то с доктором в спальне, то в кабинете, где очутился накрытый стол; то не она была, а была Долли. Потом Левин помнил, что его посылали куда то. Раз его послали перенести стол и диван. Он с усердием сделал это, думая, что это для нее нужно и потом только узнал, что это он для себя готовил ночлег. Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что то. Доктор ответил и потом заговорил о беспорядках в

Думе. Потом посылали его в спальню к княгине принести образ в серебряной золоченой ризе и он со старой горничной княгини лазил на шкафчик доставать и разбил лампадку, и горничная княгини успокаивала его о жене и о лампадке, и он принес образ и поставил в голову Кити, старательно засунув его за подушки.

«Не помня себя, он вбежал в спальню. Первое, что он увидел, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннее и строже. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что то страшное и по виду напряжения и по звуку выходящему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться: крик затих и слышались тихая суетня, шелест и торопливые дыхания и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено».

«Он поднял голову. Бессильно опустив руку на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться.

«И вдруг из этого таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить. (Разрядка наша).

«Но где, когда и зачем это все было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поест и уводила из комнаты, и даже доктор серьезно и с соболезнаванием смотрел на него и предлагал каплеь.

«Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе,—это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вневсех обычных условий жизни, быливэтой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что то высшее.

«И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся и одинаково непостижимо, при созерцании этого высшего, поднималась душа на такую высоту, до которой она никогда и не поднималась прежде, и куда разсудок уже не поспевал за нею. (Разрядка наша).

Из этих отрывков мы можем заключить следующее:

1. Толстой находился 22 часа в безсознательном состоянии («Вдруг из того таинственного и ужасного, неведимого мира, в котором он жил эти 22 часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир»), во время которого он хотя совершал целесообразные действия, но потерял сознание времени, места, цели (см. выше фразу: «где, когда и зачем это все было, он не знал»).

2. Действия, которые он совершал в этом состоянии были автоматическими (например, устраивая по приказанию других для себя ночлег он не понимал этого; его посылали за чемнибудь, он все исполнял в состоянии автоматизма.)

3. Он видел всех окружающих его близких лиц, не понимая, «как они приходили и выходили», «Где они были», «он не знал, и, вернее он не понимал связь и смысл всего окружающего, потерял всякий контакт сознательности и смысл совершаемого».

4. Такое безсознательное состояние он пережил во время смерти брата в гостинице губернского города (следовательно во время переживания аффекта горя).

5. Что эти приступы безсознательности и сумеречного состояния у него одинаково вызывались аффектом горя и аффектом радости («он знал и чувствовал только что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад на одре смерти брата. Но то было горе—это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни»).

6. Что в этом состоянии он переживал приступы психической ауры, переживания, свойственные эпилептикам (анализ этого явления см. ниже главу о «приступах психической ауры и эпилептоидных экстазов».)

7. Этот приступ сумеречного состояния окончился, повидимому, судорожным припадком.

Пример сумеречного состояния, во время которого данное лицо впадает в ступорозное состояние, сопровождающееся полным автоматизмом, мы имеем также при описании Толстым переживаний Пьера Безухова (в «Войне и мире») во время расстрела французами пленных. Здесь Толстой подробно описывает это состояние, при чем с большим мастерством показывает, как постепенно из сознания выключаются: функция центрального зрения, функции интеллекта до полного сужения поля сознания на один узкий комплекс Платона Каратаева. Все остальное он не видит, не слышит и не понимает. Только личность юродивого Платона Каратаева существует, и то, как необыкновенная личность (см. ниже, где дан подробный анализ этого переживания).

Сумеречные состояния переживались Толстым в самых различных формах и вариациях. Так, в «Крейцеровой сонате» мы имеем описание сумеречного состояния, которое сопровождается бредом ревности, доходящим до экстаза, оканчивающимся импульсивным действием—убийством. Описание это так мастерски и последовательно развивается, что так написать с точки зрения психопатологической

правдивости может только человек, переживший сам это состояние (см. об этом подробнее главу 3, II ч.). Сумеречные состояния страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера мы приводим ниже в главе «О приступах патологического страха смерти».

Легкие формы сумеречного состояния у Толстого, повидимому, были чаще. Так, ниже мы приводим выдержки из рассказа «Люцерн» где описывается Толстым, как герой рассказа под влиянием аффекта впадает в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся, помимо желания «импульсивных действий», проповедническим комплексом «бичевания» людских пороков, потребностью протестовать, разоблачать все «злое» на земле (см. соответствующую главу). Комплекс богоискательства Толстого и комплекс «искания правды», а также экстатические переживания его, когда все люди казались ему необычайно «добрыми и хорошими», переживались им в легких сумеречных состояниях (об этих формах также будет речь ниже). В общем, если мы станем подводить итоги всех форм сумеречных состояний, которые переживал Л. Толстой, то мы получим следующую сводку:

1. Сумеречные состояния, сопровождающиеся ступором и полным автоматизмом, иногда с последующими переключениями в экстатическое состояние «счастья» во время ауры.

2. Сумеречные состояния, сопровождающиеся аффектом и оканчивающиеся импульсивным действием.

3. Сумеречные состояния, сопровождающиеся экстазом «счастья» и автоматизмами, причем все люди и живые существа кажутся «добрыми» и «хорошими» (в то время как объективно нет для этого оснований).

4. Сумеречные состояния, сопровождающиеся экстазом «счастья» и комплексом богоискательства, причем ему кажется, что он постигает «откровение божьей правды».

5. Сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом гнева или экстазом, во время которого он впадает в тон пророка или правоучителя, беспощадно бичующего «ложь жизни», порочность людей, противоречия и несправедливости «земной жизни» и, вообще, когда все кажется ему обманом и сплошным преступлением.

6. Сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом патологической ревности с тенденцией к импульсивным действиям (убийства или самоубийства).

7. Сумеречные состояния, сопровождающиеся тяжелыми приступами патологического страха смерти, а также (иногда) галлюцинациями устрашающего характера (эта форма переключается иногда в состояние, указанное в пункте 4).

8. Сумеречное состояние, сопровождающееся спутанностью и бредом

Все эти формы отчасти уже иллюстрировались нами здесь, и отчасти о них будет речь ниже в следующих главах.

Эти формы приступов продолжаются у него по несколько дней или кратковременно, по несколько часов. В тяжелых случаях эти приступы оканчивались судорожными припадками (или эквивалентами).

Остается неизвестным только вопрос о характере эпизодичности этих приступов: носили ли они регулярную форму эпизодичности в смысле Kleist'a (Episodische Dämmerung; Zustand) или нет. Мы склонны думать, что строгой эпизодичности они не имели и зависели, главным образом, от внешних условий жизни. Если Толстой имел какое нибудь волнение (ссора, неприятность и проч.), то он мог их иметь чаще. Если он жил в спокойных условиях, он мог их не иметь длительное время.

5. Приступы патологического страха смерти

Приступы страха смерти у него были еще в очень ранней молодости. Вспоминая свои ребяческие «умствования», уничтожившие в нем, как он выразился, «свежесть чувства и ясность разсудка» он уже и тогда переживал эти приступы болезненного страха смерти, вследствие чего он прибегал к покаянию, стегал себя по голой спине веревкою. Причину этих приступов он сам находил в «неестественно развившемся сознании».

Повидимому, эти приступы страха смерти в молодости были не так сильны. Позже эти приступы (как мы увидим ниже) принимали более тяжелый характер и составляли центр внимания Толстого. А именно, в 1869 году появляются наиболее тяжелые приступы патологического страха смерти.

В 1869 году, при поездке в Пензенскую губернию для выгодной покупки нового имения, Лев Толстой останавливается в Арзамасе и там переживает приступ болезненно го страха смерти, беспричинной тоски.

Он так описывает это переживание в письме к Софье Андреевне от сентября 69 года:

—«Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что то необыкновенное. Было 2 часа ночи; я устал, страшно хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх и ужас такие, каких я никогда не испытывал... (Разрядка наша).

Сын его Сергей Львович в своих воспоминаниях («Голос минувшего» 1919 г., кн. 1 — 4) также описывает этот приступ:

«В одиночестве, в грязном номере гостиницы, он в первый раз испытал приступ неотразимой, беспричинной тоски, страха смерти; такие минуты затем повторялись, он их называл «Арзамасской тоской».

В Толстовском ежегоднике за 1913 г. С. А. Толстая в ею напечатанном отрывке «Из записок Софьи Андреевны Толстой» под заглавием «Моя жизнь» она замечает: «сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей пережил Л. Н. во всей своей долголетней жизни. (Разрядка наша). Трудно перенестись в это чувство вечного страха смерти.»

Из слов Софьи Андреевны мы можем заключить, что эти приступы патологического страха смерти он переживал в течение всей своей долголетней жизни очень много раз и долгое время, повидимому, эти приступы были самыми тяжелыми симптомами из всех других и они то имели более яркие последствия в перевооружении его личности.

Было бы большой наивностью думать, что эти приступы были обычным страхом смерти, свойственным каждому здоровому человеку. Про Толстого можно было бы сказать наоборот, выражаясь языком обывателя, «он был не из робкого десятка». Толстой в свои молодые годы храбро сражался в Севастопольской кампании, добровольно искал опасностей фронта, и смерти, в обычном смысле этого слова, не боялся. Тяжелые приступы патологического страха смерти, которые были у Толстого есть один из тех симптомов, который считается Крепелином характерным симптомом для аффект эпилептиков. Эти приступы могут долгое время предшествовать появлению судорожных припадков.

Автору этой работы приходилось также неоднократно наблюдать такие случаи, когда за много лет до появления аффективной эпилепсии, эти больные страдали такими приступами патологического страха смерти и лечились как психастеники с навязчивым страхом смерти. Сплошь и рядом истинная природа этих приступов долгое время не распознается и определяется как одна из многочисленных разновидностей навязчивых состояний, как фобии страха смерти, фобии быть похороненным в летаргическом состоянии, как это было, например, у Достоевского за долгое время до появления падучей. Эти состояния определяются некоторыми авторами и, по нашему мнению, ошибочно, как психастенические состояния. Это обстоятельство и привело, повидимому, к тому, что некоторые авторы например, Oppenheim выделили всю картину болезни, как «психастенические» судороги, что клинически в сущности то же самое. Bratz а потом Крепелин назвали эту форму заболеванием аффект - эпилепсией.

Однако, при анализе этих приступов страха смерти (у Толстого) или страха быть живым погребенным в летаргическом сне (у Достоевского), они настолько тяжело переживаются, что вряд ли их можно отождествлять с навязчивыми состояниями обычных психастеников. Приступы страха смерти ими переживались куда тяжелее самих судорожных припадков. Когда у Достоевского после тяжелой травмы (приговор к смертной казни и ссылка в Сибирь) эти эквивалентные приступы страха превратились в судорожные припадки, Достоевский считал себя «спасенным от сумасшествия».

И, вообще, он в период этих приступов патологического страха считал себя душевно-больным, а когда эти приступы исчезли и на место их появились судорожные припадки, он считал себя «вылеченным». Так он пишет, доктору Яновскому в 1872 г.: «Вы любили меня и возились со мной, с больным душевною болезнью (ведь я теперь сознаю это) до моей поездки в Сибирь, где я вылечился (курсив Достоевского).

«Вообще, каторга многое вывела у меня (пишет он брату из Семипалатинска в 1854 г.) и многое прибавила ко мне... Впрочем, сделай одолжение, не подозревай, что я такой же меланхолик и такой же мнительный, как был в Петербурге в последние годы. Все совершенно прошло, как рукой сняло».

Таким образом, пишет по поводу этого психиатр Юрман (Болесень Достоевского. Кл. Арх. Ген. и Одаренности, вып. 1-й, том 4, стр. 70) под влиянием происшедшей катастрофы, пребывание на каторге, психастенические черты характера прошли, временно исчезли, но те же факторы, которые способствовали исчезновению психастении, вызвали появление эпилептических припадков.

Из сказанного можно сделать следующие выводы: Достоевский переживал приступы страха смерти в летаргическом сне куда тяжелее самих припадков, ибо, когда первые исчезли и заменились судорожными припадками, он считал себя «вылеченным» и что эти приступы далеко неслизываются с обыкновенными психастеническими фобиями, а скорее рассматривать, как эквивалентные переживания припадков. Точно также приступы страха Толстого до того тяжелы были, что он готов был покончить самоубийством (прятал веревку, чтоб не повеситься), как он сам говорил. Следовательно, и эти приступы мы не можем рассматривать, как фобии страха психастеников, а как эквивалентное переживание судорожных припадков. За это говорит чрезвычайная тяжесть этих припадков, которые переживались им куда тяжелее судорожных приступов.

И, кроме этого, еще целый ряд симптомов, о которых сейчас будет речь. Для этой цели приведем сначала описание этих приступов в освещении самого Толстого. Описание этих приступов мы имеем в разбросанном виде в самых различных произведениях, в самых разнообразных вариациях (о чем речь будет ниже, во 2-й части этой работы). Но конспектированно и в хронологическом порядке он эти приступы описывает кратко в «Записках сумасшедшего». Поэтому приведем несколько отрывков оттуда.

«...Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугой), потом поехали на почтовых, перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было 200 с чем то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы все ехали. Стали дремать: я задремал, но вдруг проснулся: мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду» пришло мне вдруг в голову. Не то, чтобы не нравилась мысль купить дешево именье, но вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко.

«Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной. Стол карельской березы и диван

с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге.

«Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю. — Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я то и мучителен себе. Я, вот он я, весь тут. Ни пензенское, ни какое именье не прибавит и не убавит мне. А я-то, я то надоед, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться, и не могу. Не могу уйти от себя.

«Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было.

«Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь».

— Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут.

«Мороз продрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она, вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог бы испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность—право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечей обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть.

«Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас, красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало.

«Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать и мы поехали.

«На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело в душу и отравило всю прежнюю жизнь.

«К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся со своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастье, и я только мог на время забывать его, но оно было там, на дне души, и владело мной.

«И потом начал жить попрежнему, но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить. Как ученик по привычке, не думая, рассказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски.

«И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это, и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома.

Затем другой припадок, еще тяжелее арзамасского, он пережил в Москве. Он описывает этот припадок таким образом.

«...Приехали. Я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то, — верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие, с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь», — подумал я.

«Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор — подумал я, — чего я боюсь точно дитя. Привидений я не боюсь. Да, привидений... Лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь. Чего... Ничего. Себя. — Ну, вздор».

«Я провел ужасную ночь, хуже арзамасской; только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дождаться смерти, когда придет. Боюсь еще хуже. Жить, стало быть. Зачем. Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже.

«Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, навчавшую изменяться с Арзамаса. Я меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я еще стал слабеть и здоровьем. Жена тре-

бовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я старался не давать хода этому вопросу и в привычных условиях старался наполнять жизнь.

Затем 3-й такой припадок он описывает таким образом: «...И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слышать. Я устал, весь в поту. Остановиться—замерзнешь. Итти—силы слабеют. Я кричал. Все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел. Кругом лес—не разберешь. где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь. Не хочу. Зачем смерть. Что смерть. Я хотел попрежнему допрашивать, упрекать бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощенья и сам себе стал гадоком.

«Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали и сердце билось. Но мне радостно было.

«...Я сказал это и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. ...Вдруг как что-то давно щемившее меня оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно.

«Это было началом моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого.

«Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню. И хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просфору, потом пошли ко кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг стало ясно, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти, и страха, и нет во мне больше прежнего раздражания, и я не боюсь уже ничего.

«Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. (Курсив везде наш).

Теперь перейдем к анализу этих отрывков.

Нет сомнения в том, что весь характер этих приступов «арзамасской тоски» не есть только простая фобия, а типичный эпилептический эквивалент эпилептики, сопровождающийся галлюцинациями.

Прежде всего об эпилептическом характере этих приступов. Кроме тяжести этих приступов, за эпилептический характер их говорят следующие обстоятельства.

Описывая начало и приступ, Толстой отмечает: «Такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная». Затем

он говорит о внутреннем напряжении: «что то раздирало мою душу на части и не могло разодрать», «рвется что-то, а не раздирается». Затем характерны изменения окружающего в припадочных состояниях: «Оранжево-красное освещение окружающего, формы предметов меняются. Потому и подчеркивается красный огонь и размер подсвечника.

И, далее, он подчеркивает эти подробности: «все тот же ужас красный, белый, квадратный». Нам хорошо известно, что Толстой был далек от символистов-поэтов новейшей школы, чтобы обозначать ужас «красным, белым и квадратным». Толстой, как реалист, далек от этого, следовательно, если здесь такие обозначения употребляются, то они связаны с его действительными эпилептоидными переживаниями, которые всегда, приблизительно в таких же выражениях, характеризуют свой ужас и свои переживания перед припадком.

Третье обстоятельство, которое говорит за эпилептоидный характер этих переживаний, это переключение приступа страха и ужаса в эпилептическую ауру. Упоминание об этом мы видим в 3-м отрывке. Описывая тот же припадок ужаса, как обычно, в предыдущих случаях, он к концу вдруг отмечает: «вдруг меня просветила истина... Вдруг, как что-то давно исцелившее меня, оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно.

«Это было началом моего сумасшествия. Но полное сумасшествие (поясняет он) началось еще позднее, через месяц после этого».

Какое же это «сумасшествие?» Опять таки здесь не символика, а действительно патологическое переживание ауры, как результат переключения после приступа страха смерти. «И мне, вдруг, ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть и т. д. (подразумевая под местоимением «это» галлюцинации свои: «привидение» смерти)... «Тут уже совсем свет осветил меня».

Об этом переключении в ауру он говорит везде, где он описывает приступ патологического страха смерти. Какова эта психическая аура и как она переживается — мы увидим в следующей главе.

6. Приступы психической ауры и эпилептоидных экстазов

Выше при описании приступа сумеречных состояний мы уже видели, что эти приступы сопровождались переживаниями экстаза.

Так, например, в день получения согласия на брак от Кити Щербацкой, Левин впадает в экстаз «счастья».

Весь мир кажется ему совершенно другим. Все люди кажутся ему необычайно «добрыми» и «хорошими». Все предметы кажутся ему «неземными», даже сайки, которые выставлены в окне булочной. Все это «так необычайно хорошо», что Левин заплакал от «радости» (см. выше в главе о приступах сумеречных переживаний).

Далее экстаз «счастливого состояния» он описывает при переживаниях Пьера Безухова перед свадьбой таким образом:

«Радостное, неожиданное сумасшествие» овладело им (пишет он об этом). Весь мир кажется ему счастливым

и занятым исключительно его «счастьем». В каждом слове и движении он видит намеки на свое «счастье». Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие счастливыми взглядами и улыбками... «... Все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия он сразу встречался с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви»... «Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия (см. подробно об этом ниже в главе 3-й 2 части).

Замечательно то, что сам Толстой эти экстазы называет «счастливым безумием». Описание подобных экстазов мы имеем целый ряд в его произведениях, и большею частью там, где описываются им приступы сумеречного состояния.

На ряду с этим экстатическим переживанием мы имеем часто описание психической ауры, при переживании которой он «видит» «необыкновенное», делается также «счастливым», «свет озаряет» его и проч. и проч.

Чаще всего эти переживания ауры комбинируются с экстазами, а еще чаще аура наступает во время приступов сумеречного состояния и при переживаниях страха смерти, как результат переключения в конце приступа.

Выше при описании сумеречного состояния во время родов Кити мы имели такое описание ауры:

...«И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его...».

«Он знал и чувствовал только, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе — это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что то высшее.

«И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся и одинаково непостижимо, при совершении этого высшего, поднималась душа на такую высоту, на которую она никогда «не поднималась прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею».

В этом отрывке мы имеем характерное описание эпилептической ауры.

Мы видим здесь:

1) Что эта аура явилась в сумеречном состоянии, которое длилось 22 часа. («Вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти 22 часа»).

2) Характерное для эпилептиков внезапное начало и характерное переключение от тяжести сумеречных переживаний в «счастливую» ауру. (...«вдруг.... мгновенно почувствовал себя перенесенным»...).

3) Мистический «мир», куда «переносится» эпилептоид, описывается в характерных выражениях:...«мир сияющий теперь таким

новым светом счастья»... Сумеречные состояния были «в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что то высшее»... «Поднималась душа на такую высоту, до которой она никогда не поднималась прежде»...

4) Чрезвычайно характерно тяжелое напряжение, которое переживает эпилептик при наступлении ауры, подобно тому, как перед припадком... Он не перенес его, натянутые струны все сорвались... тяжело, мучительно наступало совершающееся...».

5) Потеря чувства, времени, места и цели переживаемого. Непостижимость совершающегося: ...«но где, когда и зачем это все было, он не знал... «Непостижимо:... «рассудок уже не поспевал...

6) Аура наступает у него и при переживаниях сумеречного состояния, вызванного радостью, и при переживаниях сумеречного состояния, вызванного тяжелым горем (смерть брата). «Но то горе и эта радость одинаково были вне обычных условий жизни».

7) В переживаниях ауры (как точно также во время переживания сумеречного состояния) он производил настолько тяжелое впечатление, что окружающие его близкие и врач обращались с ним, как с больным, в то время, как он не сознавал себя в тот момент больным. (...«Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку, и, жалостно глядя на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поесть и уводила из комнаты, и даже доктор сердечно с соболезнованием смотрел на него и предлагал капель...»).

Ниже мы увидим также, как при описании приступа патологического страха смерти, описанного под видом предсмертных переживаний князя Андрея, аура описывается как «пробуждение» от сна. Приступ страха смерти (т.е. галлюцинация смерти) описывается здесь, как сновидение князя Андрея, а переключение в ауру, как «пробуждение» от сна.

Аура в этом случае описывается Толстым таким образом:

«Вдруг просветлело в его душе и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его». Здесь слова: «вдруг», «неведомое», «просветлело в его душе», освобождение и странная легкость» говорят о тех же переживаниях психической ауры.

Здесь мы имеем новые черты: «легкость», «свет», и то эпилептоидное озарение, которое присуще эпилептоиду.

7. Галлюцинации

Были ли галлюцинации у Толстого? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся опять к предыдущим цитатам из «Записок сумасшедшего» и обратим внимание на это место в описании «арзамасской тоски».

«Да что за глупость — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь?»

«Меня», — неслышно отвечал голос смерти. «Я тут». Таким образом, тут уже определенно, без всяких сомнений говорится, что отвечал голос смерти. Кроме того смысл употребления местоимения «она», «вот она» и затем слова: «видел, чувствовал», что «смерть наступает», — уже определенно говорят за то, что он имел зрительную галлюцинацию. А во втором отрывке Толстой уже определенно употребляет слово «привидение».

— Чего я боюсь, точно дитя? Привидений я не боюсь. Да, привидений... Не даром он дальше вместо слова «привидение» уже употребляет местоимение в среднем роде.

«Оно вышло за мной»; «то, что меня сделало» и т. д.

Замечательно то, что это же переживание галлюцинации устрашающего характера (в данном случае, галлюцинации смерти) он использует в ряде произведений, где необходимо ему показать: или предсмертные переживания героя, или просто как галлюцинации устрашающего характера. Пример последней формы мы имеем в рассказе «Поликушка» в переживаниях Дутлова. Тут только имеется разница: вместо среднего рода «оно» употребляется местоимение «он», подразумевая под этим повесившегося Поликея, являющегося Дутлову в виде галлюцинации. Приведем это место из рассказа «Поликушка»:

...«Ему долго не спалось; взмог месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Акинью и что то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, — видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые он употребил на пагубу Ильича. По крайней мере, Дутлов чувствовал его тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Ильяху со связанными руками, вспомнил лицо Акиньи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. Что это, или уж староста повешать идет? — подумал он. — Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях, — или старуха не заложила, как выходила в сенцы? — Собака завyla на задворке, а он шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку и она загремела. И опять он стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот д рнул за скобку и вошел в человеческом облике. Дутлов знал уже, что это был он. Он хотел сотворить крест, но не мог. Он подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдвинул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик узнал, что он был в Ильичевом образе. Он оскалился, руки болтались. Он влез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги! — выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду, — хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его, всею тяжестью каменной горы напирая ему на грудь. Дутлов знал, что ежели он прочтет молитву, он отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал, — дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет Бог», — проговорил Дутлов. Он отпустил немного. «И расточаете врази»... — шамкал Дутлов. Он сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул он обеими ногами о пол. Дутлов все читал молитвы, которые ему были известны, читал все подряд. Он пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, а внук плакал, засыпая, и жался к деду. Все опять затихло. Дед лежал, не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова («Поликушка», стр. 509 — 510). (Слово «он» подчеркнуто Толстым).

В этом описании галлюцинации мы видим все подробности переживания. «Он идет с качающимися кистями, он проходит мимо окна, отдернул скобу, открывает запертую дверь, подходит к столу, сдергивает скатерть, полез на печку к нему, к Дутлову, оскалился, наваливается на него и душит его. Вся эта картина напоминает кошмар во сне, однако, автор рассказа заявляет, что «все спали кроме деда и внука, следовательно, Толстой описывает это не как сновидение, а как галлюцинацию. Однако, эту же самую галлюцинацию он использует в другом месте в несколько иной вариации, в форме сновидения.

Ниже (см. главу 3-ю 2 часть) мы приводим описание этой галлюцинации в предсмертных переживаниях князя Андрея. Там также за дверью стоит «оно», «оно ломится в дверь», смерть «ломится в дверь», он борется с ней за обладание двери, чтоб не впустить. Но «силы его слабы», «оно» надавило оттуда, «оно вошло». Таким образом, и здесь тот же характер переживания. В этих галлюцинациях Толстой переживает форменную борьбу не только психически, но и физически.

Что у Толстого бывали галлюцинации вообще, свидетельствует также Гольденвейзер. В его дневнике на стр. 382 есть такая заметка довольно определенно на это указывающая:

«В дневнике Л. Н. есть запись, указывающая, что ему слышался как бы какой то голос, назвавший не помню, какое число, кажется, марта. Л. Н. казалось, что он должен в это число умереть, — на это есть несколько указаний в его дневнике». (Разрядка наша Г. С.).

Это указание Гольденвейзера вполне вяжется со всеми вышеприведенными отрывками из «Записок сумасшедшего», где говорится, что он слышит голос смерти.

Ниже при описании судорожных припадков мы увидим что и перед припадком он впадает в бред и спутанность и тут также Толстой определенно галлюцинирует.

Итак, галлюцинациями Лев Толстой страдал—это не подлежит сомнению. Галлюцинации эти зрительные и слуховые носили устра-

шающий характер (смерть, «привидение» смерти) и доставляли ему наиболее тяжелые страдания из всех других.

Вот почему проблема смерти и предсмертных переживаний занимала его больше всего.

8. Приступы моментального затмения сознания (Petit mal)

Еще в юном возрасте Толстому знакомы моментальные затмения сознания. Так, в «Отрочестве» (т. I, стр. 150 — 151) он пишет об этом таким образом: «Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свой умственный взор, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обслуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты. А дальше (через несколько строчек спустя) он эти же состояния называет как «временные отсутствия мысли», во время которых можно совершать такие импульсивные действия, как то: убийство любимого или близкого человека (см. выше цитированный отрывок в главе 4). Сам Л. Толстой говорит (в этом же отрывке), что эти состояния ему уже знакомы были еще в отроческих годах.

О том, что моментальные затмения сознания были уже в молодости у Льва Толстого, указывает этот отрывок из рассказа «Семейное счастье» (часть I, стр. 380), написанный Толстым в 1859 г., т. е. в 31 летнем возрасте.

«Вдруг что то странное случилось со мной: сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло предо мной, только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз, потом мне казалось, что глаза эти во мне, все помутилось. Я ничего не видела и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха, которые производил во мне этот взгляд... (Разрядка наша).

Надо отметить здесь, что этот приступ описывается в момент наивысшего душевного напряжения и волнения: когда Сергей Михайлович объясняется в любви Маше, следовательно, этот приступ вызывается непосредственно моментами сильной эмоции.

Позже в зрелые годы (в 1874 году) в «Исповеди» он также описывает, правда, в несколько иной форме, те же приступы.

...«Пять лет тому назад (пишет он в «Исповеди») со мною стало случаться что то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни (разрядка наша).

Все эти данные, трактующие об «остановках жизни», когда «мысль не обслуживает вперед каждого определения воли», когда бывают «временные отсутствия мысли», — являются характерными определениями

моментальных затмений сознания; — настолько характерными для эпилептиков, что сомневаться в их существовании у Толстого не приходится.

9. Головокружения и обмороки

Среди прочих симптомов мы можем также отметить приступы головокружения с потерей равновесия и обмороки.

Мы находим, например, симптомы такого головокружения, во время приступа которого Толстой теряет равновесие и падает на землю, отмеченными в следующем литературном документе. Так, в «Записках Маковицкого» («Голос Минувшего» — 1923 г., № 3) мы читаем следующую запись:

«17 октября 1905 года.

Сегодня утром Л. Н.ч после того, как вынес ведро и возвращался к себе, упал в первой кухонной двери, ведро выскочило у него из рук. Его увидел лакей Ваня, когда он уже поднимался. Сам встал, взял ведро, пришел к себе и прилег на диван. Был очень бледен. Пульс слабый, губы бледные, уши прозрачные. Когда поднял голову и хотел сесть, почувствовал головокружение. Потом голове стало легче. Полежал спокойно около часа и начал — было заниматься, но потом опять прилег и подремал от 10 до 12 и от часу до 6-ти. Вечером говорил, что это с ним уже бывало (разрядка наша Г. С.).

— Помню, с Гротом шел по Пречистенке, шатался. Пошатнулся, прислонился к стене и постоял. Теперь уже 4 дня шатало меня, только не сильно.

Под вечер пульс был слабый — 76, перебоев не было. Утром не выходил».

Из этого отрывка видно, что припадки такого головокружения, во время которых он падал, теряя равновесие, бывали и раньше, и что описываемое падение с ведром — не случайное падение, что также явствует из описания того состояния, которое последовало после припадка.

Точно также Лев Николаевич Толстой был подвержен обморокам.

Как пример, иллюстрирующий эти обмороки, приводим следующий отрывок от 4 августа (дневника Гольденвейзера на стр. 203):

«... Софья Андреевна стала читать Л. Н. в столовой все ту же страничку из дневника со своими комментариями *). Среди чтения Л. Н. встал и прямой, быстрой походкой, заложив руки за ремешек и со словами: «Какая гадость, какая грязь» прошел через площадку в маленькую дверь к себе. Софья Андреевна за ним. Л. Н. запер дверь на ключ. Она бросилась с другой стороны, но он и ту дверь — на ключ. Она бросилась с другой стороны, но он и ту дверь успел запереть. Она прошла на балкон и через сетчатую дверь стала гово-

*) Речь идет о том месте дневника Л. Н., где он будто, по утверждению Софьи Андреевны, упоминает о своей физической связи с Чертковым, что вызывало у Л. Н. всегда негодование.

рить ему: — «Прости меня, Левочка, я сумасшедшая». Л. Н. ни слова не ответил, а, немного погодя, страшно бледный, прибежал к Александре Львовне и упал в кресло (разрядка наша). Александра Львовна взяла его пульс — больше ста и сильные перебои».

В мемуарной литературе о Толстом описаний или упоминаний о таких обмороках мы имеем достаточное количество.

10. Судорожные припадки у Льва Толстого

О судорожных припадках у Льва Толстого мы можем судить по тем литературным документам, в которых есть описание припадков (ниже мы приводим такое описание) или же в которых есть прямое упоминание о них тех лиц, которые были невольными свидетелями этих припадков как со стороны родных, так и посторонних. Кроме того, об этих припадках можно судить со слов самого Толстого в некоторых его произведениях. Однако, если ставить себе задачей проследить эти припадки в хронологическом порядке — вещь почти невозможная, ибо не все эти припадки отмечались в литературных воспоминаниях; можно сказать, наоборот, они умышленно замалчивались и только немногие из них отмечались при тех или иных обстоятельствах. И вот по ним мы можем судить: во-первых, о их существовании вообще, и, во-вторых, отметить приблизительно хронологическое развитие этих припадков.

Первые приступы судорожного характера несомненно были в детские или отроческие годы (см. 1-ю главу: о времени появления судорожных припадков).

Затем в период половой зрелости и молодости, повидимому, припадков не было. По крайней мере, нигде нет указаний и намеков на это в литературно-мемуарных источниках за время пребывания на Кавказе, а затем в фронтовой обстановке в Севастопольской кампании также нет данных для этого, ибо тогда бы он не мог служить на военной службе.

Впрочем, то обстоятельство, что он обрывает внезапно свою военную службу и выходит вскоре в отставку, наводит невольно на мысль: не является ли появление припадков причиной такого внезапного ухода с военной службы? Но на это у нас доказательств нет. Это только предположение. Одно несомненно, что в это время он был чрезвычайно возбужден и возбужденный же приехал в Петербург.

1-й судорожный припадок, который мы имеем, дает уже полное основание предположить, что он был у взрослого, это во время смерти его брата в 1860 году. На это имеется у нас ряд оснований. Во-первых, в своих «Записках сумасшедшего» (см. выше) его указание: «что до 35 лет у него ничего не было». Кроме того, в целом ряде упоминаний в своих литературных работах, он всегда свои экстраординарные переживания, почему то особенно всегда связывает с этим моментом смерти брата, как с каким то переломным моментом в его жизни.

Так, например, выше при описании сумеречных переживаний во время родов Кити, он прямо говорит, что это состояние было такое

же, как при смерти брата: ...«он знал и чувствовал только то, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостиннице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе — это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни»... т. е. переживались им в сумеречном состоянии. А как кончилось это состояние? Толстой сам говорит там же: «И вдруг из того таинственного и ужасного, не здешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа (т. е. после 22 часов сумеречного состояния), Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир (т. е. в мир реального сознания), но сияющий теперь таким новым светом счастья (т. е. впадши в экстаз возбуждения после сумеречного состояния), что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которые он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить»... т. е. просто с ним случился судорожный припадок. Сопоставляя все это, мы можем заключить, что во время смерти брата с ним был судорожный припадок после такого же сумеречного состояния, как было при родах его жены. Указание на это (хотя неполное) имеется на стр. 377, XVIII главы «Анны Карениной», где он, описывая сцену смерти брата, говорит: «Левин затрясся от рыданий и не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты».

Таким образом, мы можем заключить, что первые судорожные припадки (после детских и отроческих) надо считать с 1860 года (при смерти брата Николая. 2-й припадок судорожный — время 1-х родов Кити, его жены, в 1863 году, т. е. как раз, когда ему было 35 лет от роду. Что и подтверждает он вышеупомянутым самопризнанием в «Записках сумасшедшего»: «до 35 лет я жил и ничего за мной заметно не было» и т. д.

Из последующих указаний на судорожные припадки мы имеем в 1881 году (или 1883 г.) в воспоминаниях Кашкина:

...«Я отправился к Рубинштейну. И как только сказал ему о моем ходатайстве, он тотчас же распорядился непременно устроить место для графа Толстого и послал ему билет от имени Рубинштейна. Билет был послан и место приготовлено. Но граф на концерт не явился».

«В один из следующих дней я встретил сестру Льва Николаевича, графиню Марию Николаевну Толстую, которая рассказала мне, что Лев Николаевич был очень обрадован посылкой билета, стал вечером собираться на концерт и даже совсем оделся для выезда, но вдруг его стали обуревать сомнения: должен ли и может ли он идти в концерт? Сомнения разрешились жестоким нервным припадком (разряд наша Г. С.), так что пришлось даже послать за доктором. (Воспоминание Н. Кашкина «Л. Н. Толстой и его отношение к музыке». Альманах «О Толстом» под редакцией П. Сергеевко, т. I).

Воспоминание это относится к началу восьмидесятых годов (по словам Кашкина).

Затем, упоминание о припадках имеется еще в письме Софьи Андреевны 1885 года.

...«Случилось то, что уже столько раз случалось *): Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю — лицо страшное. До сих пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего.

«Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или Америку».

«Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось»? «Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет». — Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти; вижу, человек сумасшедший и когда он сказал, «где ты — там воздух заражен», я велела принести сундуки и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это»? Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети, 4: Таня, Илья, Ледя, Маша режут на крик: нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу и молчу три часа, хоть убей, говорить не могу. Так и кончилось.

«Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь, за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?

... Но вот, после этой истории, вчера, почти дружелюбно расстались. Поехал Левочка с Таней вдвоем на неопределенное время в деревню...

... Я все эти нервные взрывы и мрачность, и бессоницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось, он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до худобы и до нервного состояния... (С. А. Толстая — Т. А. Кузьминской, декабрь 1885 г.).

Здесь мы имеем не только упоминание припадков, но подтверждение, что припадки бывали много раз и именно в словах: «случилось то, что уже столько раз случалось».

Каковы были эти припадки? Какова клиническая картина этих припадков? Из этих данных мы узнать ничего не можем.

Единственный ценный документ, из которого мы можем узнать о характере, и вообще подробную клиническую картину судорожных припадков Л. Толстого — является дневник В. Ф. Будгакова. По-

*) Разря ка здесь и дальше наша. (Г. С.).

этому для освещения этого вопроса, приведем те места из его дневника, где описывается подробно припадок*).

В дневнике В. Ф. Булгакова (секретаря Л. Толстого) на стр. 336 3-го октября (изд. «Задруга», 1898 года) мы читаем:

.. Писал сегодня Л. Н. статью о социализме, начатую по совету Душана для журнала чешских анархистов. Меня он просил не переписывать ее, а оставить до приезда Ал. Л-ны, зная, что ей эта лишняя работа будет приятна.

Ездил верхом с Душаном. Вернувшись с прогулки, проходил через «ремингтонную».

— Хорошо съездил, без приключений, — улыбнулся он и забрал с собой со стола полученную на его имя с сегодняшней почтой книгу.

И ни он, ни я никак не предполагали того, что должно было случиться сегодня. Случилось это вечером*).

Л. Н. заснул, и, прождав его до 7 часов, сели обедать без него. Разлив суп, С. А-на встала и еще раз пошла послушать не встает ли Л. Н. Вернувшись, она сообщила, что в тот момент, как она подошла к двери спальни, она слышала чирканье о коробку зажигаемой спички. Входила ко Л. Н-чу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Л. Н-ча показались ей странными.

— Глаза бессмысленные... Это перед припадком. Он впадает в забытие... Я уж знаю. У него всегда перед припадком такие глаза быва ю т.

Она немного поела супу. Потом, шурша платьем, отодвинула стул, поднялась и снова пошла в кабинет.

Дети — Сергей Львович и Татьяна Львовна — недовольно переглянулись: зачем она беспокоит отца?

Но на вернувшейся С. А. лица не было.

— Душан Петрович, подите скорее к нему!... Он впал в беспамятство, опять лежит и что-то такое бормочет... Бог знает что такое!

Все вскочили точно под действием электрической искры. Душан за ним остальные, побежали через гостиную и кабинет в спальню.

Там — темнота. Л. Н. лежал в постели. Он шевелил челюстями и издавал странные, негромкие похожие на мычание, звуки.

Отчаяние и за ним ужас прокрались в эту комнату.

На столике у изголовья зажгли свечу. Сняли со Л. Н-ча сапоги и накрыли его одеялом.

Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так как будто он держал перо, Л. Н. слабо стал водить рукой по одеялу.

*) Описанный припадок В. Ф. Булгаковым, впервые нами освещался клинически в 1925 году в «Клинич. Архиве Гениальн. и одарен», в 1-м выпуске 1 тома, в статье: «К патографии Льва Толстого».

*) Здесь, а также и дальше, разрядка наша (Г. С.)

Глаза его были закрыты, брови насуплены, губы шевелились, точно он что то пережевывал во рту.

Душан всех высладал из комнаты. Только П. И. Бирюков остался там, присев в кресло в противоположном от постели углу. Софья Андреевна, Сергей Львович, я, Татьяна Львовна и Душан, подавленные, вернулись в столовую и принялись за прерванный обед...

Только что разнесли сладкое, прибежал Павел Иванович.

— Душан Петрович, у Л. Н-ча судороги!

Снова бросились все в спальню. Обед велено было совсем убрать. Когда мы пришли, Л. Н. уже успокоился. Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться. Он подумал, Л. Н-чу хочется почесать ногу, но, подошедши к кровати, увидел, что и лицо его перекошено судорогой.

— Бегите вниз. Несите бутылки с горячей водой к ногам. Горчичники нужно на икры. Кофею, кофею горячего!

Кто то отдавал приказания, кажется, Душан и С. А-на вместе. Остальные повиновались и вместе с приказывавшими делали все, что нужно. Сухонький Душан бесшумно, как тень, скользил по всем направлениям комнаты. Лицо С. А-ны было бледно, брови насуплены, глаза полузакрыты, точно веки опухли... Нельзя было без боли в сердце видеть лицо этой несчастной женщины. Бог знает, что в это время было у нее на душе, но практически она не потерялась: уложила бутылки вокруг ног, сошла вниз и сама приготовила раствор для клистира... На голову больного, после спора с Душаном, наложила компресс.

Л. Н. был, однако, еще не раздет. Потом я, Сергей Львович (или Бирюков) и Душан раздели его: мы с С. Л-чем (или Бирюковым — даже не заметил) поддерживали Л. Н-ча, а Душан заботливо, осторожно, с нежными уговариваниями больного, хотя тот все время находился в бессознательном состоянии, снимал с него платье...

Наконец, его покойно уложили.

— Общество... общество насчет трех... общество на счет трех...

Л. Н. бредил.

— Записать, — попросил он.

Бирюков подал ему карандаш и блок-нот. Л. Н. накрыл блок-нот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его по-прежнему было мрачно.

— Надо прочесть, — сказал он и несколько раз повторил: разумность... разумность...

Было тяжело, непривычно видеть в этом положении обладателя светлого, высокого разума Льва Николаевича.

— Ловочка, перестань, милый, ну, что ты надишешь? Ведь это платок, отдай мне его, — просила больного С. А-на, пытаясь взять у него из рук блок-нот. Но Л. Н., молча, отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку.

Потом... Потом начались один за другим страшные припадки судорог, от которых все тело человека, беспомощно лежавшего в постели, билось и трепетало. Выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удерживать их. Душан обнимал Л. Н-ча за плечи, а Бирюков растирали ноги. Всех припадков было пять. Особенной силой отличался четвертый, когда тело Л. Н-ча перекинулось почти совсем поперек кровати, голова скатилась с подушки, ноги свесились по другую сторону...

С. А-на кинулась на колени, обняла эти ноги, припала к ним головой и долго была в таком положении, пока мы не уложили вновь Льва Николаевича как следует на кровати.

Вобщем, С. А-на производила страшно жалкое впечатление. Она поднимала вверх глаза, торопливо крестилась мелкими крестами и шептала: Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!...». И она делала это не перед другими: случайно войдя в ремингтонную, я застал ее за этой молитвой.

Александре Львовне, вызванной мною запиской, она говорила: — Я больше тебя страдаю: ты теряешь отца, а я теряю мужа, в смерти которого я виновата!...

Александра Львовна внешне казалась спокойной и только говорила, что у нее страшно бьется сердце. Бледные тонкие губы ее были решительно сжаты.

После пятого припадка Л. Н. успокоился, но все так же бредил.

— 4, 60, 37, 38, 39, 70, — считал он.

Поздно вечером пришел в сознание.

— Как вы сюда попали? — обратился он к Душану и удивился, что он болен.

— Ставили клистир? Ничего не помню. Теперь я постараюсь заснуть.

Через некоторое время С. А-на вошла в спальню, стала что то искать на столике около кровати и нечаянно уронила стакан.

— Кто это? — спросил Л. Н.

— Это я, Левочка.

— Ты откуда здесь?

— Пришла тебя навестить.

— А!..

Он успокоился. Видимо, он продолжал находиться в сознании.

Болезнь Л.Н-ча произвела на меня сильное впечатление. Куда бы я в этот вечер ни пошел, везде передо мной, в моем воображении, вставало это страшное, мертвенно-бледное, насупившееся и с каким то упрямым, решительным выражением лицо. Стоя у постели Л. Н-ча, я боялся смотреть на это лицо: слишком выразительны были его черты, смысл же этого выражения был ясен, и мысль о нем резала сердце.

Когда я не смотрел на лицо и видел только тело, жалкое, умирающее, мне не было страшно, даже когда оно билось в конвульсиях: передо мной было только животное. Если же я глядел на лицо, мне становилось невыносимо страшно: на нем отпечатывалась тайна, тайна великого действия, великой борьбы, когда, по народному выражению, «душа с телом расстается».

Видно, мала еще моя вера, если я боялся этого!

Поздно ночью приехал из Тулы доктор (Щеглов). Но он уже не видал Л. Н-ча. Душан объяснил ему болезнь, как отравление мозга желудочным соком. На вопрос наш о причине судорог приезжий доктор отвечал, что оне могли быть обусловлены нервным состоянием, в котором находился Л. Н. в последнее время, в связи с наличием у него артериосклероза.

Легли спать во втором часу ночи. Я и Душан — поблизости со спальней. Бирюков просидел в спальне до третьего часа ночи.

Во все время болезненного припадка, внизу, в комнате Душана, сидел вызванный тайно из Телятенки Александрой Львовной ближайший друг больного В. Г. Чертков, вход которому наверх воспрещен. Белинский доставлял ему сведения о состоянии Льва Николаевича.

4 октября.

Все миновало. Ночью Л. Н. спал. Утром проснулся в сознании. Когда Бирюков рассказал ему содержание его бреда, слова: душа, разумность, государственность, — он был доволен, по словам Бирюкова и Ал. Л-ны...

Итак, из всех этих данных видно, что Лев Толстой был подвержен судорожным припадкам, трактуемым близкими иногда, как «обмороки», «забытье». Эти припадки сопровождаются, во-первых, полной потерей сознания, во-вторых, судорогами, начинающимися сначала в отдельных частях тела, а затем переходящими в общие судороги всего тела.

Проявление судорог в отдельных частях тела описывается таким образом: «он шевелил челюстями и издавал странные, негромкие, похожие на мычание звуки».

«Губы шевелились, точно он что-то пережевывал во рту»...

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Л. Н. слабо стал водить рукой по одеялу». Затем судорога переходит на нижние конечности: — Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться; он подумал, что Л. Н-чу хочется почесать ногу, но, подошедши к кровати, увидел, что и лицо его перекошено судорогой. Потом... Потом начались один за другим страшные припадки судорог, от которых все тело человека, беспомощно лежащего в постели, билось и трепетало, выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их»...

Это описание припадка настолько характерно описано (неврачем), что классическая картина эпилептических судорог настолько ясна, что тут никакого сомнения быть не может в их достоверности.

Также мы видим, что после припадка у больного полная амнезия всего происшедшего, ибо после припадков, поздно вечером, когда Лев Толстой пришел в себя, он удивился Душану, который все время нахо-

дился у постели больного. — «Как Вы сюда попали? обратился он к Душану и удивился, что он болен.

— «Ставили клистир? — Ничего не помню»...

Точно также 4-го утром, проснувшись в полном сознании, когда Бирюков рассказал ему содержание бреда, — он доволен был содержанием бреда.

Об этих амнезиях после припадков отмечает также и сынего Илья Львович в своих воспоминаниях о своем отце *) на странице 228 мы читаем:

...«Несколько раз с ним делались какие-то необъяснимые внезапные обмороки, после которых он на другой день оправлялся, но временно совершенно терял память **).

Видя в зале детей брата Андрея (пишет он), которые в это время жили в Ясной, он удивленно спрашивал, «чьи это дети? — встретив мою жену, он сказал ей: «ты не обидься, я знаю, что я тебя очень люблю, но кто ты, я забыл», и, наконец, войдя раз после такого обморока в залу, он удивленно оглянулся и спросил: «а где же брат Мишенька?» (умерший 50 лет тому назад).

На другой день следы болезни исчезали совершенно».

Выше, при описании Булгаковым припадков, нам также бросилось в глаза резкое изменение психики перед припадком: полное помрачение сознания с состоянием бреда и спутанности.

Так, в этом дневнике отмечается:—

Наконец, его спокойно уложили.

— Общество... общество насчет трех... общество насчет трех...

Л. Н. бредил.

— Записать—попросил он.

Бирюков подал ему карандаш и блок-нот.

Л. Н. накрыл блок-нот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его было мрачно.

— Надо прочитать,—сказал он и несколько раз повторил: разумность... разумность... разумность... Было тяжело, не привычно видеть в этом положении обладателя светлого, высокого разума, Льва Николаевича.

— Левочка, перестань, милый, ну что ты напишешь? Ведь это платок, отдай мне его,—просила больного С. А-на, пытаясь взять у него из рук блок-нот. Но Л. Н. молча отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку...

Аналогичное состояние перед припадком при другом случае, упомянутом выше, описывает и дочь его Александра Львовна:

«В такие минуты он терял память (говорит она), заговаривался, произнося какие-то непонятные слова. Ему, очевидно, казалось, что он дома, и он был удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык.

*) Илья Львович Толстой, «Мои воспоминания», Берлин, изд. Ладьяникова.

*) Разрядка здесь и дальше — моя.

— Я не могу еще лечь, — сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул. Когда это было сделано, он стал просить, чтобы на столике была поставлена свеча, спички, записная книжка, фонарик и все, как бывало дома.

Когда сделали и это, мы снова стали просить его лечь, но он все отказывался...

Из этих отрывков, описывающих психическое состояние Льва Толстого перед припадком, мы определенно видим, что его психика была настолько помрачена, что мы можем это состояние его психики обозначить как то сумеречное состояние, которое бывает перед припадком у аффект-эпилептиков. Повидимому, он здесь галлюцинировал, принимая, например, чужую обстановку в дороге (описанное дочерью Александрой Львовной выше состояние перед припадком случилось дорогой) за обстановку домашнюю, ибо, как она пишет: «он был удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык».

Он требовал, чтоб был поставлен ночной столик, свеча и т. д.

А что у Л. Толстого бывали галлюцинации вообще, об этом мы уже говорили выше.

Теперь спрашивается: быть-может, этот описываемый припадок был единичный случай в жизни Толстого, и что из этого нельзя заключить, что он был вообще подвержен припадкам. Чтоб осветить этот вопрос, мы также имеем целый ряд данных, говорящих против того предположения, что этот припадок был единичный.

Мы имеем целый ряд свидетельств близких Льву Толстому лиц, из которых ясно видим, что припадкам он был подвержен, как свойственной ему привычной болезни. К этой болезни близкие настолько привыкли и настолько ее изучили, что даже по продромальным симптомам, узнавали раньше, когда будет припадок. Так, например, в том же описанном выше секретарем Толстого припадке, мы читаем:

— «...Входила (речь идет о Софье Андреевне) ко Льву Николаевичу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают-ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Льва Н-ча показались ей странными.

— Глаза бессмысленные... Это перед припадком. Он в падает в забытье... Я уже знаю. У него всегда *) перед припадком такие глаза бывают»...

Из этого ясно следует, что его жена Софья Андреевна, настолько изучила его припадки, что знает, что такие глаза бывают «всегда» перед припадком. Значит, припадков таких она видела достаточно настолько, что она, будучи не медиком, но наблюдательным человеком, как всякий в ее положении, узнает те привычные ей и знакомые симптомы, предшествующие припадку, как нечто хорошо знакомое.

О том, что припадки бывали с ним нередко и раньше, явствует также из целого ряда других литературных документов. Так, если мы возьмем воспоминания его дочери А. Толстой («Об уходе и смерти Л. Н. Толстого»), то у ней мы находим такое место (стр. 156):

*) Разрядка наша (Г. С.).

«Когда он (т. е. Л. Толстой) заговорил, я поняла, что у него начинается обморочное состояние, которое бывало и прежде*). В такие минуты он терял память, заговаривался, произнося какие-то непонятные слова...

И дальше на этой-же 156 странице...

«Мы поняли, что положение очень серьезно, но, и что, как это бывало и прежде, он мог каждую минуту впасть в беспамятство. Душан Петрович, В. М. и я стали понемногу раздевать его, не спрашивая его более, и почти перенесли в кровать.

Я села возле него, и не прошло и пятнадцати минут, как я заметила, что левая рука его и левая нога стали судорожно дергаться. То-же самое появлялось временами и в левой половине лица»...

... Мы попросили начальника станции послать за станционным доктором, который-бы мог, в случае нужды, помочь Душану Петровичу. Дали отцу крепкого вина, стали ставить клизму. Он ничего не говорил, но стонал, лицо его было бледно и судороги, хотя и слабые, продолжались.

Часам к девяти стало лучше. Отец тихо стонал. Дыхание было ровное, спокойное»...

Из этого описания другого припадка, в другом месте, дочерью Льва Толстого мы видим, что припадок сопровождается также судорогами и потерей сознания, что припадку предшествуют признаки, по которым близкие заранее узнают, что будет припадок: «в такие минуты, (т. е. до припадка) он заговаривался, произнося какие-то непонятные слова».

На основании этого дочь его, А. Толстая «поняла», что начинается то состояние, «которое бывало и прежде»: «он мог впасть в беспамятство».

А, главное, что мы можем из этого заключить, что припадкам этим он был подвержен, как ему нечто настолько свойственному, что по симптомам предвестников узнают наступающий припадок. Будь этот описываемый припадок как единичный случай, или как нечто редкое, вызываемое исключительным состоянием, то дочь его и близкие не могли бы этими предшествовавшими признаками руководствоваться, что будет припадок.

Насколько резко и характерно было это состояние перед припадком для родных и близких, видно из следующего описания:

Гольденвейзер на стр. 318 в своем дневнике (цитируя записки А. П. Сергеевко) описывает состояние здоровья Л. Н., когда он был подвержен целому ряду припадков в связи с неприятными переживаниями, таким образом:

«...Душан Петрович рассказывал, что 14-го, в тот день, когда Софья Андреевна написала Л. Н.—чу свое письмо, он ожидал, что у Л. Н.-ча будет вечером опять припадок. Л. Н. с утра был слабый, голос у него был вялый, и, когда он говорил, губы у него слабо двигались,

**) Разрядка здесь, а также и дальше — наша.

рот едва открывался. Все это, особенно то, что слабо двигались губы, было для Душана Петровича, нехорошим признаком.

Но, несмотря на свою слабость, Л. Н. все-таки решил после завтрака поехать на прогулку. Душан Петрович пробовал было его отговорить, предлагая ему поехать в экипаже, но Л. Н. сказал, что поедет верхом потихонечку, и что он чувствует ему будет лучше от прогулки. Душан Петрович не мог больше отговаривать Л. Н. и они поехали. Отъехали они шагом, Л. Н. ехал впереди. Душан Петрович тревожился за него, он был слишком слаб. Но, проехав шагом некоторое расстояние, Л. Н. припустил лошадей, а затем остановил ее и подошел к себе Душана Петровича. И Душан Петрович не поверил глазам своим. — Это был совсем другой Лев Николаевич, чем $\frac{1}{4}$ часа тому назад. — Лицо оживленное, свежее, голос громкий, и губы, по словам Душана Петровича, совершенно «жизненные».

Итак, мы с достоверностью можем на основании этих данных сказать, что Лев Толстой страдал эпилептическими припадками с потерей сознания, с эпилептическими судорогами, с бредом и спутанностью до припадков и с последующей полной амнезией всего происшедшего.

II. Зависимость судорожных припадков и их эквивалентов от аффективных переживаний

Здесь мы должны отметить одну весьма характерную особенность в истории болезни Толстого, а именно зависимость припадков и их эквивалентов от аффективных переживаний у Л. Толстого.

В самом деле, если проследить время, когда появляются эти припадки, то всегда бросается в глаза, что они появляются всегда после какого-либо аффективного переживания Льва Николаевича. — Будь это семейная сцена или неприятность, потрясающая его легко ранимую эмотивную сферу, он всегда, в конце-концов, реагировал на это аффективное переживание припадком. Так, описываемые выше припадки с конвульсиями в дневнике секретаря Л. Толстого — Булгакова, относятся к тому тяжелому периоду переживаний, когда у него конфликт с Софьей Андреевной дошел до высшей точки, так что он решился на бегство. Непосредственно эти припадки были вызваны тяжелыми объяснениями по поводу ссоры его дочери с матерью. Эти припадки были чрезвычайно тяжелого характера. Точно также все припадки и эквиваленты, которые упоминались выше, также наступали в связи с аффективными переживаниями неприятного или приятного характера.

О том, что припадкам всегда предшествовали аффективные переживания неприятного характера, также видно из следующего письма Черткова к Досеву от 19 октября 1910 г. (стр. 326, Гольденвейзер «Вблизи Толстого», т. II, изд. 1923 г.), где Чертков, говоря относительно только что пережитых припадков 5-го октября 1910 г., вспоминая прежние аналогичные припадочные состояния, пишет таким образом:

«В июле 1908 года Л. Н. переживал один из тех вызванных Софьей Андреевной мучительных душевных кризисов, которые у него всегда оканчиваются серьезной болезнью. Так

было и в этот раз*); он тотчас после этого заболел и некоторое время находился почти при смерти».

Тут уже определенно свидетельствуется Чертковым, что почти все душевные кризисы, или, вернее, все тяжелые переживания аффективного характера оканчиваются «серьезной болезнью», т.-е. припадком.—«Так было и в этот раз» т.-е. в этот раз, (когда появились припадки) они зависели от душевных волнений. Это ценное наблюдение Черткова действительно подтверждается: всюду, где только в жизни Толстого отмечается припадок, ему всегда предшествует аффективное волнение. В периоды же, когда Л. Н. не имел этих волнений, у него припадков не бывает.

Таким образом, в аффективном характере этих припадков нет никаких сомнений.

Позже, при клинической оценке этих припадков, мы должны будем учитывать эту особенность.

12. Наследственная отягченность у Льва Толстого

О психопатической и невропатической предрасположенности Льва Толстого имеется столько данных, что если-бы мы стали приводить здесь все эти данные,—это составило бы отдельную работу.

Достаточно, если мы приведем для характеристики наследственной отягченности Толстого слова одного из представителей рода Толстых—М. Г. Назимовой из ее «Семейной хроники» Толстых.

М. Г. Назимова говорит, что в каждой семье каждого поколения Толстых имеется душевно-больной, что действительно можно отметить в генеалогии Толстых. Помимо душевно-больных еще больше мы имеем в каждой семье членов с психопатическим характером, или имеются преппсихотики с шизоидными чертами психики:

Замкнутые эксцентричные, вспыльчивые, взбалмошные, странные чудачки, авантюристы, юродствующие и склонные к крайнему религиозному мистицизму, иногда сочетаемому с ханжеством, крайние эгоисты, сенситивные и проч.

К таким типам, между прочим, принадлежит один из двоюродных дядей Толстого, известный под именем «американца».

Что касается прямой отягченности, то мы можем отметить про некоторых из близких членов семьи Толстого следующие данные.

Дед писателя по отцу—Илья Андреевич, представляет из себя патологический тип. Сам Толстой упоминает о нем, как об ограниченном человеке в умственном отношении. Он был очень веселый человек, но его веселость носила патологический характер.

В имении его, Полянах (не Ясная Поляна) в Белевском уезде, в его доме был вечный праздник. Бесперывные пиршества, балы, бес-

*) Разрядка наша (Г. С.)

прерывные торжественные обеды, театры, катания, кутежи—делались совершенно не по его средствам. Кроме того, его страсть играть в карты (совершенно не умеючи играть) на большие суммы, его страсть к различным спекуляциям, к аферам денежным, довели его до полного разорения. Если к этому бестолковому и бессмысленному мотовству прибавить еще то, что он совершенно бессмысленно отдавал деньги всякому, кто просил, то неудивительно, что этот ненормальный человек дошел до того, что богатое имение жены было так запутано в долгах, и разорено что его семье нечем было жить, и он принужден был искать себе место на службе государственной, что при его связях ему было легко сделать — и он сделался казанским губернатором.

Предполагают, что он окончил самоубийством.

Таков был дед.

Бабушка его также была особа ненормальная и, повидимому, более ненормальная, чем дед.

Дочь слепого князя Горчакова, ее сам Толстой характеризует также, как очень недалекую особу в умственном отношении. Известно также, что она была очень неуравновешанная и взбалмошная женщина со всякими причудами и самодурствами, мучила своих приближенных слуг, а также родных. Была также взяточница.

Страдала галлюцинациями. Однажды, она велела отворить дверь в соседнюю комнату, где она будто увидела своего сына (тогда уже покойного) и разговаривала с ним. Кроме всего, она страдала и истерическими припадками. Об этом нам повествует Толстой в «Детстве» таким образом:

...«Бабушка получила ужасную вестъ только с нашим приездом, и горестъ ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому, что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова, грозила кому то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и падала без чувств.

Один раз я вошел в ее комнату; она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразило ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределен и туп: она смотрела прямо на меня, но должно быть не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «поди сюда, мой дружок подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается

ко мне, и подошел ближе, но она смотрела на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась, и как теперь рада, что ты приехала»... «Я понял, что она воображала видеть шапана, и остановился. А мне сказали, что тебя нет, — продолжала она, нахмурившись, — вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня? — и она захохотала страшным истерическим хохотом... (курсив наш).

...«Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслью ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась... (Детство. Ст. 131 — 132).

Бабушка его (по отцу) сравнительно рано впала в старческое слабоумие. В «Войне и мире» он описывает ее в лице старухи графини Ростовой таким образом:

«Графине было уже за 60 лет. Она была вся седа и носила чепчик, обхватывающий все лицо рюшем. Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла и глаза были тусклы. После так быстро следовавших одна за другой смертей сына и мужа, она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила, жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, т. е. употреблять свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях и очень старых людях. В ее жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидно была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, пошутить, поработать, посердиться и т. д. только потому, что у нея был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала, не вызываемая ничем внешним, не так, как делают это люди во всей силе жизни, когда из за цели, к которой они стремятся, незаметна другая цель приложения своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать легкими, языком. Она плакала, как ребенок, потому что ей надо было просморкаться и т. д.

То, что для людей в полной силе представляется целью, для нея, очевидно, был предлог».

«Это состояние старушки понималось всеми домашними, хотя никто никогда не говорил об этом и всеми употреблялись всевозможные усилия для удовлетворения этих ее потребностей. Только в редком взгляде, грустной полуулыбке, обращенной друг к другу между Николаем, Пьером, Наташей и графиней Марьей, бывало выражаемое это взаимное понимание ее положения.

Но взгляды эти, кроме того, говорили еще другое. Они говорили о том, что она сделала уже свое дело в жизни, о том, что она не вся в том, что теперь видно в ней, о том, что и все мы будем такие же и что радостно покоряться ей, сдерживать себя для этого, когда то дорогого, когда-то такого же полного, как и мы, жизни, теперь жалкого существа. «Memento mori» говорили эти взгляды».

Из детей этой четы:

Один сын—Илья Ильич (т. е. младший брат отца) был горбатый и умер в детстве.

Дочь, Александра Ильинишна (сестра отца Толстого). Отличалась мистическим характером, жила в монастыре, держала себя, как юродивая, и была очень неряшлива (по словам самого Льва Николаевича).

Понятно, что здесь речь идет о патологической неряшливости.

Другая дочь—Пелагея Ильинишна также, повидимому, умственно отсталая, юродивая, мистически настроенная, с тяжелым и неуживчивым характером (например, плохо жила с мужем и часто расходилась). Ее религиозность переходила в ханжество.

В конце-концов, она удалилась в монастырь, впала в старческое слабоумие (несмотря на религиозность, не хотела при смерти причастаться).

Повидимому, одна из этих теток также страдала истерией. К одной из них относятся слова о болезни после неприятности в письме Л. Толстого к А. А. Толстой, написанные 7 августа 1862 г.

«...Тетенька выскочила мне навстречу—она думала, что это я и с ней сделалась та болезнь, от которой она и теперь страдает...

«...Тетенька с этого дня стала хворать все хуже и хуже.. Когда я приехал, она расплакалась и упала; она почти не может стоять теперь... (Разрядка наша Г. С.).

(Из письма Л. Н. Толстого—А. А. Толстой от 7 авг. 1862 г.).

Со стороны материнской линии мы имеем характеристику его деда—князя Волконского, описанного в «Войне и мире» под именем старого князя Болконского. В характеристике, даваемой Толстым старому князю, мы видим в нем много явно патологических черт.

Будучи по натуре резко аффективным и вспыльчивым, он обрисовывается Толстым человеком с явно ненормальным и деспотическим, доходящим до крайнего самодурства, характером, от которого страдали не только все окружающие, но и дети его: князь Андрей и Мария Болконская—(мать Льва Толстого).

К старости он обрисовывается как человек впавший в старческое слабоумие, не дававший себе ясного отчета в происходившем. Со своими детьми: Андреем и Марией жил в ссоре и, наконец, в одном из приступов аффекта у него появляется правосторонний паралич. Через некоторое время у него появляется второй инсульт, от чего он и умирает.

Отец Толстого—Николай Ильич, судя по отзывам самого Льва Толстого, был человек недалекий. 16 лет он, повидимому, болел какой-то нервной болезнью, и, повидимому, в целях его здоровья, был сведен в незаконный брак с дворовой девушкой. Толстой рисует его, как веселого человека с «сангвиническим» характером. На самом деле это был вспыльчивый, легко возбудимый человек, который, выходя из себя, делался агрессивным.

Сам Толстой в «Войне и Мире», рисуя характер отца, в лице Николая Ростова, говорит о нем:

«Одно, что иногда мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, эта была его вспыльчивость в соединении с его старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предсудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился.

«Однажды летом из Богучарова был вызван староста, заменивший умершего Дрона, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо и с первых ответов старосты в сенях слышались крики и удары».

Его жена, графиня Марья тщетно боролась с этим явлением. Однако, несмотря на клятвенные обещания этого не делать, он удержаться не мог от вспыльчивости и агрессивности, что говорит за то, что это было патологическое явление и меньше всего его агрессивность надо рассматривать, как бытовое явление тогдашнего времени с крестьянами расправляться кулаками за их провинности.

Чтобы удержаться от вспыльчивости и побоев, жена его давала такие советы: «Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться», с грустью говорила графиня Марья, стараясь утешить мужа.

«В дворянском обществе губернии (говорит далее Толстой об отце) Николай был уважаем, но не любим. Дворянские интересы не занимали его, и за это-то они считали его гордым, другие — глупым человеком».

Из всех сыновей его (братьев Льва Николаевича) — один был определенно нервно психически-больной.

Это был Дмитрий Николаевич. В детстве приступы капризности его были до того сильны, что мать и няня «мучились» с ним. Позже, взрослый, был очень замкнутый, даже с братьями; задумчивый, склонный к мистическому и религиозному юродству, не обращая внимания на окружающих людей; имел странные выходки, странные вкусы, вследствие чего был объектом насмешек. Был неряшлив и грязен, являлся без настоящей рубашки, одетый только на голое тело в пальто и, таким образом, являлся с визитом к высокопоставленным лицам. Из юродствующего и религиозного вдруг становился развратным временами. Часто делался импульсивным, вспыльчивым, агрессивным, жестоким и драчливым, дурно обращался с слугой своим, бил его. Страдал смолоду тиком (подергивал головой, как-бы освобождаясь от узости галстука). Умер от чахотки.

Другой брат Толстого — Сергей Николаевич отличался также эксцентричностью и явно патологическими странностями психики. Так, по словам старшего сына Толстого (Льва Львовича) он был «эгоистичный» и «несчастный человек», мало разговаривающий и чрезвычайно замкнутый: часто месяцами проводил один взаперти». Часто на весь дом раздавались «его оханья и аханья». Держал себя всегда странным образом и оригиналом. Выезжал не иначе, как на четверке. Был чрезвычайно горд и к крестьянам относился с презрением.

Сын Льва Толстого — Лев Львович также отмечает в своих воспоминаниях, что он страдал в течение 5 лет какой-то «нервной болезнью»,

так что был освобожден от воинской повинности и оправился, будто-бы, от этой болезни, когда женился.

Из всех этих данных о наследственности Толстого мы можем заключить, что он принадлежал к личностям с невропатической и психопатической предрасположенностью.

13. Общая оценка всех клинических данных

Перейдем теперь к общей оценке всех клинических данных, которые мы до сих пор приводили. Можем ли мы все выше приведенные симптомы болезни Толстого квалифицировать как симптомы генуинной эпилепсии? Такой диагноз болезни Толстого мы категорически отвергаем, как мы его отвергли 5 лет тому назад *).

Не говоря уже о том, что ни клиническая картина самих припадков, ни характер периодичности этих припадков — не соответствуют картине генуинной эпилепсии, — само течение, т. е. все развитие психики Л. Толстого резко противоречит такой форме эпилепсии.

Как известно, психика одержимого генуинной эпилепсией сопровождается резким притуплением психических способностей, чего про психические способности Льва Толстого сказать уж никак нельзя. Наоборот, необычайное развитие его необыкновенных психических способностей поражает нас, и это развитие сохранилось вплоть до самой его смерти.

Точно также вводить в дифференциально-диагностические соображения гипотезу о возможности эпилепсии органического происхождения у нас нет ни малейших оснований для этого. Психогенное происхождение припадков и его эквивалентов мы уже констатировали выше. Точно также раннее появление судорожных припадков и других симптомов, и вообще вся картина болезни и ее развитие, все это говорит против такого предположения.

Появление к старости артериосклероза могло только осложнить картину болезни, но не объяснить, ибо, как сказано, судорожные и другие симптомы мы имеем еще с юного возраста. Единственно, что может ввести нас в диагностическое затруднение это вопрос — не были ли эти припадки истерическими (истерические реакции), и вообще нельзя-ли весь симптомокомплекс заболеваний объяснить истерией? Тем более, что психогенность симптомов у нас налицо.

Но и это предположение мы должны отвергнуть.

Дело в том, что характер судорог описанных выше не подходит под истерию. Точно также характер припадков, протекающих с потерей сознания, с амнезией после припадка, со спутанностью и бредом до припадка, носящие характер тяжелого сумеречного состояния и вообще вся картина припадка не вяжутся с истерической реакцией. Кроме того, выше констатированные ряд симптомов: сумереч-

*) «Клин. Арх. Ген. и одар», вып. I, т. I, в статье: «К патографии Льва Толстого».

ные состояния, типичные для эпилептиков приступы ауры Petit mal, тяжелые приступы патологического страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера, доводившие его до желания самоубийства; наконец, патологические изменения настроения, резко аффективно-агрессивный характер со всеми ему присущими особенностями — все это говорит за то, что диагноз истерия — слишком упрощенный шаблон, в который ни болезнь, ни психика Толстого не укладываются. Во всяком случае мы таким упрощенным диагнозом удовлетвориться не можем. Мы больше склонны к тому диагнозу, к которому мы пришли в 1925 году: диагнозу а ф ф е к т и в н о й э п и л е п с и и. Более детальное изучение болезни Толстого, изложенное здесь, в этой работе, нас еще более убедило в справедливости этого диагноза, нежели 5 лет тому назад.

По исследованию Bratz'a *), аффективную форму эпилепсии необходимо совершенно выделить, как особую форму, совершенно отличающуюся от генуинной эпилепсии, несмотря на то, что эта форма также выражается в судорожных припадках, как и генуинная эпилепсия. Но характерным отличием этой аффективной эпилепсии является то, что эти припадки являются преимущественно после душевных волнений (аффектов), отсюда и название — аффективная эпилепсия.

Далее, при этой форме эпилепсии бывают припадки Petit mal, головокружения, обмороки, психические эквиваленты, патологические изменения настроения, состояние спутанности и пр. Характерным также при этой форме эпилепсии является то обстоятельство, что припадки эти улучшаются, как только удастся таких больных поставить в условия спокойной обстановки, где нет причин для аффекта.

Но самое характерное для таких больных (и это является резким отличием этих больных от других форм), что у аффект-эпилептиков при наличии у них психопатической предрасположенности никогда не наступает того эпилептического изменения личности, характеризующего эпилептическое слабоумие, которое обычно бывает при генуинной эпилепсии.

Точно также Крепелин **) выделяет эту форму аффективной эпилепсии, как самостоятельную форму, отмечая все вышеприведенные характерные черты, т. е. также отсутствие эпилептического изменения личности в смысле слабоумия, несмотря на судорожные припадки; также зависимость этих припадков от аффекта и волнения, и вообще все течение этой болезни зависит от влияния внешних обстоятельств (в особенности волнений), чего при генуинной эпилепсии не бывает.

Кроме того, Крепелин отмечает еще и следующие психические симптомы, свойственные аффективной эпилепсии: чрезвычайно сильная раздражительность, патологические изменения настроения, при-

*) Bratz. — Die Affectepileptische Anfälle der Neuropathischen und Psychopathischen. Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie 1911

**) Kraepelin. Psychiatrie B. III, 1149 p.

ступы патологического страха, состояние затемнения сознания с самообвинениями, а иногда с галлюцинациями, бывают также состояния сильного возбуждения, иногда сопровождающиеся затемнением сознания. Бросается также в глаза то, что в этом симптомокомплексе аффективной эпилепсии содержатся перемешанные между собой симптомы эпилептического и истерического заболевания и что этой аффективной эпилепсии подвержен более мужской пол, нежели женский.

На основании этого, а также на основании всего клинического течения, Крепелин считает это заболевание все-таки ближе к эпилептическому, нежели к истерическому.

Если мы проанализируем симптомокомплекс, найденный нами у Льва Толстого с симптомокомплексом аффект-эпилепсии Крепелин-Bratz'a, то мы находим полную их тождественность. И, действительно, в симптомокомплексе болезни Льва Толстого мы находим 2 компонента, определяющие клиническую картину. Компонент эпилептический и компонент истерический, которые переплетаются между собой в тот «запутанный клубок» симптомов, о котором говорит Крепелин. Наличие «истерических реакций» у Толстого не только не противоречит нашему диагнозу, а, наоборот, подтверждает его справедливость, ибо наличие истерического компонента перепутанного с эпилептическими симптомами и характерно для аффект-эпилепсии и точно также для болезни Льва Толстого.

Резюмируя все клинические данные, приведенные в этой работе, мы приходим к следующим выводам:

Лев Толстой страдал аффект-эпилепсией (в смысле клинической картины, описанной Bratz-Крепелином), на основании следующих данных:

1. Лев Толстой был подвержен судорожным припадкам, сопровождавшимся полной потерей сознания с последующей амнезией. Перед припадком: бред и состояние полной спутанности.

2. Припадки эти всегда следовали после аффективных переживаний.

3. Эти припадки не вызвали у Льва Толстого эпилептического изменения психики (в смысле слабоумия); наоборот, несмотря на глубокую старость, его психические функции стояли до конца его жизни на свойственной ему высоте. Кроме того Л. Толстой страдал:

4. Приступами сумеречного состояния, которые часто завершались припадками.

5. Также тяжелыми приступами патологического страха смерти, которые носили характер тяжелых сумеречных состояний.

6. Эти приступы сопровождались галлюцинациями (зрительными и слуховыми часто устрашающего характера).

7. Сумеречные состояния часто сопровождались экстазами, автоматизмом, ступором, психической аурой, а иногда импульсивными действиями.

8. Кроме того, он был подвержен приступам Petit mal, головокружениям с потерей равновесия и обморокам.

9. По своему характеру Л. Толстой принадлежал к личностям аффективно-раздражительного типа (так называемый «эпилептический характер»).

10. Время от времени он был подвержен патологическим изменениям настроения (депрессия и проч.).

11. Все перечисленные симптомы в вообще вся картина страдания развились на основе невропатической и психопатической predispositionности.

12. Артериосклероз в старости мог сыграть роль ухудшающего фактора.

II. АФФЕКТ-ЭПИЛЕПТОИДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Л. ТОЛСТОГО

Давно уже стало общим местом для всех — при исследовании личности Толстого — обязательно отмечать сложность, многогранную противоречивость, парадоксальность, неустойчивость личности и поведения Толстого. Однако, до сих пор нет ни одного удовлетворительного объяснения, которое нам правильно указало бы на механизмы, управляющие этой личностью.

Мы исходили из того убеждения, что без клинического освещения и анализа этих механизмов Толстой остается непонятым. Вот почему мы сочли нужным сначала в предыдущих главах показать эти клинические данные, чтобы потом на их основе иметь возможность показать эти механизмы личности и поведения Толстого.

В этой главе мы и займемся этим вопросом.

При изучении личности и поведения Толстого замечательным является та особенность, что нигде так ярко и выпукло не построены психические механизмы по законам диалектического развития, как у него. Какой бы комплекс его психической жизни мы ни брали, всегда он строго логически вытекает из другого противоречивого комплекса его исключającego и с ним антагонизирующего. Получается убеждение, что вся психика Толстого построена из противоречащих друг другу комплексов. Ниже мы приводим иллюстрации таких комплексов.

Здесь же нам невольно напрашивается вопрос: чем обусловлена такая диалектика психических комплексов Толстого? Ответ на это дают нам клинические данные Толстого. Утверждая это, мы исходим из того положения, что вообще весь мир патологических явлений построен диалектически.

Мы исходим из убеждения, что развитие в природе выжидается на диалектической роли патологии. Патология, разрушая, создает ценности. Болезнь моллюска создает жемчужину. Прививая себе оспу, человек приобретает иммунитет и этим самым «здоровье», а вместе с тем и высший этап культуры. Женщина, «болея нормальной беременностью» и родами, разрешается здоровым ребенком и тем не только предохраняет человеческий род от его вымирания, но и гарантирует возможность развития культуры и т. д. Роль патологии

в диалектическом развитии природы еще недостаточно изучена и недостаточно оценена. Роль патологии в диалектическом развитии личности Толстого такова же: болезненная психика Толстого, доставлявшая ему тяжелые страдания, дала миру жемчужину русской литературы.

Вот тут и возникает необходимость, чтобы изучить эту жемчужину, надо знать механизм этой своеобразной болезни, давшей условия для появления этой жемчужины.

Выше мы поставили диагноз болезни Толстого — аффект-эпилепсия, а психику его трактуем, как аффект-эпилептоидная психика.

Чем характеризуется эта психика, каковы ее механизмы? На это мы сейчас дадим ответ и увидим, что самое замечательное в механизмах аффект-эпилептоидной психики — диалектическое построение этих механизмов.

В одной из наших работ данного «Архива» мы уже указывали, что самым характерным в механизме проявления психической энергии у аффект-эпилептиков является симптом полярности психических разрядов.

Поясним, что мы понимаем под «полярностью». Обычно нормальная реакция человека на внешние раздражения протекает по линии средней интенсивности.

Психическая энергия, окрашенная известной дозой эмотивности, проявляется в известной пропорции по отношению к другим (интеллектуальным и волевым) элементам, а также по отношению к внешним раздражителям. Эта пропорция, сохраняющаяся как нечто постоянное и характеризует «норму» и границу психических реакций «нормального» человека.

Эта «норма» реакций никогда не выходит за известные средние пределы, ни в сторону плюс, ни в сторону минус. Повышенный аффект или притупленный аффект, повышенная волевая реакция (судорожный припадок, гиперкинезия, гипербулия и проч.) или пониженная (гевр, повышенная интеллектуальная деятельность и пониженная, доходящая до бессознательности) — есть удел всякой патологической реакции. Но эти уклоны в сторону плюс и минус имеют свои механизмы. Эти механизмы, между прочим, также зависят от того, насколько эти уклоны в сторону плюс или минус приближаются к тому или иному полюсу (или пределу). Ведь уклоны в сторону плюс и минус должны же, наконец, иметь и свои пределы.

Психо-механизмы, дающие возможность разрядиться психической энергии до крайних пределов, мы можем обозначить — как психо-механизмы с полярными реакциями. Аффект-эпилептической психике свойственно иметь такие механизмы и для них они являются наиболее характерным. Прежде всего, сам по себе «эпилептический припадок», со всеми его гиперкинетическими и эквивалентными явлениями, есть уже сама по себе тенденция к полярному разряду

волевой энергии в сторону плюс; с другой стороны — последующая эпилептическая акинезия, после припадка, ступор и проч., есть такая же тенденция в сторону минус. В отношении эмоциональности, — аффективные разряды перед припадком имеют тенденцию к полярному разряду в сторону плюс, а в сторону минус — после припадка. В отношении интеллектуальных разрядов: обострение психических функций перед припадком (аура, гипермнезия) понижение во время и после припадков (бессознательное состояние, амнезия после припадка).

Психомеханизмы с тенденциями к такому предельному разряду психической энергии, доходящей до полюсов, — и дают симптомокомплексы полярных разрядов, характерные для эпилептиков.

Второй особенностью аффект-эпилептической психики является то, что вышеупомянутая полярность реакции сопровождается альтернативным характером этой реакции. Полюс — плюс (гиперкинезия, гипертимия, гипермнезия) имеет тенденцию или тяготение тут же перейти к противоположному полюсу — минус (к гипокинезии, акинезии, гипотимии, к амнезии и т. д.). Иначе говоря, полярные симптомы «гипер» имеют тенденцию и непреодолимое тяготение перейти в «гипо». Подобно маятвику, раскачивающемуся к крайним своим точкам размаха то вправо, то влево, — аффект-эпилептическая психика в этом смысле альтернативна: не знает середины. Реакция одного полюса быстро переходит к реакциям другого полюса: эпилептик или чрезвычайно аффективен, гневен или чрезвычайно мягок, добр, любвеобилен, или экстатичен, возбужден, или подавлен, угрюм, или чрезмерно деятелен, подвижен, или апатичен, или переживает необычайное интеллектуальное обострение, или удивительно туп, беспамятен и т. д. Но характерно и то, что все это быстро может переходить из одного состояния в другое.

3-ей характерной особенностью аффект-эпилептической психики являются: симптомы извращения полярных разрядов.

Под симптомом извращения полярных разрядов мы понимаем то состояние, когда в процессах вышеупомянутых полярных разрядов полюс отрицательный замещается полюсом положительным или наоборот. Например, аффект-эпилептик вместо того, чтоб разрядить полярно свои эмоциональные переживания «альтруистическими» эмоциями, разряжает их эмоциями «жестокости»; иначе говоря, там, где он должен выявить крайнюю степень эмоции любви, самопожертвования, он проявляет эти эмоции садизмом (вместо полюс — плюс он выявляет полюс — минус). Таким образом, мы имеем здесь замещение одного крайнего полюса другим крайним. Происходит это по закону извращения эмоциональной полярности аффект-эпилептиков. (Аналогично этому, экстатические переживания могут замещаться гиперкинетическими (припадком) или гипер-

будней. Гиперкинезия же (припадок) может быть замещена какими-нибудь эквивалентами интеллектуального характера» и т. д. *).

Все механизмы аффект-эпилептической психики конструируются на этих 3-х кардинальных основах. Все психические комплексы складываются на этих «3-х китах» аффект-эпилептической психики и получают благодаря этому своеобразно противоречивое строение.

Дело в том, что такое тяготение к полярности и альтернативности этих комплексов вызывает постоянную борьбу между этими комплексами и постоянную неустойчивость и противоречивость их изживания. Создается тип человека, тяготеющий всегда к крайностям, к «эстрасности», человека с «надрывными» тенденциями во всех тех переживаниях, которые у обыкновенных людей не вызывают такой реакции (или если вызывают, то только в исключительных экстраординарных случаях жизни). Можно сказать, что у такого типа человека с такой психической структурой, создается установка постоянной напряженности и борьбы как по отношению к внешнему миру (раздражающему его и вызывающему у него всегда полярную и альтернативную реакцию) так и по отношению к себе самому: постоянная борьба с самим собой, со своими собственными тяготениями то в одну крайность, то в другую.

Эти полярные и альтернативные тяготения касаются не только аффективных переживаний, но и всех сторон волевой и интеллектуальной сферы. Мы имеем в этих случаях не только людей с повышенной и напряженной аффективностью, но и с повышенными волевыми и интеллектуальными реакциями. Гипербулия, гипертимия и гинермнезия (вернее, гиперинтеллектуальность) им также свойственны, как и противоположное состояние (амнезия, пониженная интеллектуальность, гипотимия, абулия, акинезия и т. д.).

Само собой разумеется, что все эти указанные свойства психики аффект-эпилептиков могут быть и при других формах эпилепсии, но не надо забывать, что в других формах эпилепсии эти свойства не проявляются, как результат психогенной реакции (что является обязательным при аффект-эпилептической конституции). Затем при аффект-эпилептической психике все вышеупомянутые симптомы (полярности, альтернативности и извращения полярных реак-

*) Многими авторами все эти особенности эпилептических разрядов (полярности, альтернативности и извращения полярных разрядов) трактуются как амбивалентность. Но это неверно. Амбивалентность, как это понимается Bleuler'ом в шизофрении, есть переживание 2-х исключаящих друг друга противоположных комплексов, уживающихся друг с другом в один и тот же момент. Тут мы имеем 2 валентности (или 2 психических *vaueurs*), в одно и то же время. У аффект-эпилептиков нет этой валентности в одно и то же время, а эти противоположные валентности проявляются в разные моменты альтернативно по формуле: «или то, или другое»; одно другое исключает в силу своего противоречия. В шизофренической амбивалентности одно другое не исключает и протекает по формуле «и то — и другое», несмотря на их противоречие. В этом принципиальная разница, несмотря на внешнее сходство.

ций) — есть нечто закономерное и обязательное, между тем как в других формах эпилепсии эти симптомы вовсе не обязательны. Да, у аффект-эпилептиков сами эпилептические (или эпилептоподобные) припадки, как таковые, могут быть очень редки и могут совсем не бывать, между тем вышеупомянутые симптомы обязательно всегда будут в той или иной степени выражены.

Типы людей с так называемым «эпилептическим характером» было бы вернее определять, как людей с такими полярными реакциями.

Уж из этих данных делается нам понятным, что эти механизмы построены диалектически.

Постоянный антагонизм комплексов с установкой на «гипер» с комплексами с установкой на «гипо», исключаящих друг друга создают ту «диалектику души», о которой говорил Чернышевский по отношению к Льву Толстому. Несомненно, как это мы увидим далее, психика Толстого построена именно таким образом. Какой бы психический комплекс Толстой ни переживал, разряд этого комплекса происходит по типу полярных реакций, т. е. в изживании этого комплекса он доходит до крайнего предела. Изживая, таким образом, данный психический комплекс до крайности, он вслед за этим переклывается в противоположный антагонистический комплекс, находящийся в резком противоречии к только что пережитому. И, таким образом, построена вся психика Толстого: что бы он ни переживал, он, прежде всего, переживает данный комплекс в крайностях — полярно, а затем, дошедши до крайней точки, перебрасывается к противоположному полюсу этого переживания и опять доходит до крайнего предела.

Отсюда его постоянная противоречивость, парадоксальность, крайности его поведения, отсюда вся лабильность психики, давшая ему постоянные страдания, борьба со своими антагонизирующими комплексами, исключаящая возможность душевного покоя и равновесия.

Приведем несколько таких противоречиво-построенных комплексов для иллюстрации. Приведенные примеры размещаются нами колонками справа и слева на одной и той же странице таким образом, что каждый комплекс иллюстрируется тут же рядом справа со своим противоположным комплексом под одной и той же нумерацией слева.

Противоречивое строение эмоционально-волевых комплексов психики Л. Толстого

1. Вспыльчивый, раздражительный, легко возбудимый характер, легко переходящий в запальчивость, задирчивость с агрессивными тенденциями. «Вечный оппозиционер», вечный спорщик. «Беспокойный

1. Чрезвычайная мягкость, доброта, «вадушность и сердечность» в обращении с людьми, особенно ко всему угнетенному. Необычайная чувствительность к душевным переживаниям других людей до слезливости.

человек» с «надрывной натурой».

2. Комплекс крайнего эгоизма и себялюбия, психического садизма. Тенденция «жить во всю», не обращая внимания на окружающих. «Все трын-трава». «Комплекс Ерошки». Любовь к жизни и ко всем ее благам. Практическая расчетливость в смысле всего того, что доставляет ему блага жизни. Крайний эпикуреизм. Крайнее честолюбие и чванство своим барством.

3. Крайняя степень возвеличивания своего «я» и переоценка своей личности. «Воображает себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины и с гордым сознанием своего достоинства смотрит на остальных смертных».

«Надежда на необыкновенное тщеславное счастье, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие».

Для удовлетворения своего тщеславия ищет возможности прославиться военными подвигами.

Громкая слава писателя дает ему высшее удовлетворение. «Не заслужил генерала от артиллерии, зато сделался генералом от литературы».

4. Комплекс «грубой распущенности» в сексуальной жизни Толстого. Огрицание любви и сексуальной романтики. Сведение любви к простой похоти. Патологическая сексуальность и патологическая ревность.

5. Комплекс полного аморализма (комплекс «Ерошки: «все трын-трава», «все дозволено».

2. Комплекс крайнего альтруизма: желание отдать все, что он имеет, другим. Желание пожертвовать собой для других и искание случая пострадать за благо другого. Непротивленчество. Психический мазохизм. Отрицание жизни, барства и довольства.

3. Крайняя степень унижения в оценке своей личности. Превращение к себе и беспощадное самобичевание. Раскаяние и полное отрицание подноценности своей личности. Отсутствие чувства полноценности в себе и в своих деяниях. Признание суетности и ничтожности своих поступков. Беспощадное бичевание своего тщеславия, гордости и кичливости.

4. Комплекс утонченной идеализации романтики любви. Утонченные экстазы любви (отношение Левина к Кити до женьбы).

5. Фанатическое искание «правды», фанатическое бичевание «лжи».

«На меня находило странное желание, без всякой видимой причины лгать самым отчаянным образом».

6. Полное отрицание религиозного культа, признание лживости религиозных обрядов и предрассудков.

7. Полное отрицание полезности и нужности своего литературного творчества. («Несмотря на то, что я считал писательство пустяками... я все таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазны писательства, соблазны огромного денежного вознаграждения и рукописки за ничтожный труд и предавался ему, как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов в смысле жизни моей и общей»).

8. Беспощадная критика современного ему строя, действий власти, критика социальных отношений (эксплуатации имущими классами крестьян и рабочих).

Противоречивое строение интеллектуальных комплексов Л. Толстого

1. Реальное отношение к внешнему миру. Реальные восприятия и реальная оценка этих восприятий. «Реалист во вкусах и взглядах и по отношению к людям и в манере писать. Не терпит неправды и напускной фальши».

2. Склонность в мышлении распространяться в деталях (любовь копаться в деталях).

Стремление перестроить мир на началах любви и справедливости.

6. Впадает в мистический экстаз. Признание «божественного начала». Утверждает, что ему дано «откровение» «Божьей Правды». Комплекс богоискательства. Создает сектантство: «толстовство».

7. Комплекс тонкого художественного чутья.

8. Консерватизм и реакционность по отношению к революционному движению.

1. Склонность к метафизическому мышлению. Склонность к мистике и фантастике, не имеющей реального основания.

2. Склонность к абстрактному, к обобщениям, подобно тому, как это делают проповедники. («Генерализации»).

Склонность к бесчисленным повторениям.

3. Склонность интеллекта подмечать все реально «телесное», физиологическое (в особенности в людях), выразительные движения тела. Подчеркивание моторики тела, склонность заниматься «проблемами плоти», «проблемами «физиологического».

4. Переживания комплексов обострения интеллектуальных способностей (гипермнезии).

3. Склонность к «духовному», к «психологизму», к «проблемам духа». Склонность к метафизическому мышлению «философствование», «умствование», «Grüblersucht».

4. Комплексы «психических провалов» (амнезии), патологические приступы, понижающие и извращающие интеллектуальные функции.

Перечислением этих примеров далеко не исчерпываются все формы противоречиво построенных комплексов в психике Толстого. Их можно было бы продолжить дальше. Такое строение комплексов в психике Толстого делает нам понятным его противоречивое поведение. Оно логически вытекает из вышеупомянутой закономерности эпилептоидных механизмов. Толстой не мог не быть противоречивым в своих реакциях поведения. Для него было закономерно именно то, что он был последовательно противоречив.

Б. ЭВРОПАТОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Для того, чтобы осветить характер творчества Толстого с европатологической точки зрения, мы должны себе уяснить вопрос, насколько эпилептоидный характер личности Толстого мог влиять на его творческую продукцию. Что эти влияния имеются, в этом никакого сомнения быть не может для всякого мыслящего клинициста, уже познакомившегося с вышеприведенными клиническими данными. Влияния эти, как мы увидим ниже, самого разнообразного характера, а потому на их изучение мы направим, главным образом, наше внимание.

Исходя из диалектического метода изучения явлений творчества и из диалектической оценки роли патологии в творческих процессах, мы прежде всего, должны отметить диалектическую роль этой патологии в творчестве Толстого. Эта диалектичность, как мы увидим ниже, сказывается в органической противоречивой роли патологии во всех фазах творческой жизни Толстого.

Что патологический фактор вообще играет именно такую роль, мы убедились при изучении творчества громадного большинства великих людей. Толстой в этом отношении не только не является исключением, а, наоборот, служит ярким примером, где эту диалектичность можно хорошо показать. Исходя из этого, наша проблема распадается на следующий ряд вопросов, которые мы должны здесь осветить.

1. Прежде всего мы должны показать европозитивную роль патологического момента в творчестве Толстого. И именно в какие периоды творческой жизни эта европозитивная роль наиболее выпукло проявилась и в чем она сказалась.

2. Затем мы должны показать евронегативную роль патологического момента в творчестве Толстого: в какие периоды его творческой жизни она проявилась и в чем.

Мы этим самым установим специфическую роль эпилептоидного фактора в создании европозитивных и евронегативных фаз в развитии творческого пути Толстого. Также этим самым мы установим закономерность и естественное развитие этих противоречивых фаз, как результат органической неизбежности диалектики этих явлений.

Вот те вопросы, которые мы должны прежде всего осветить в этой главе.

Для этой цели сначала обратим внимание на творческий путь Толстого, на хронологическую кривую Толстовского творчества. Эта кривая, анализируемая в следующей главе, дает нам поучительные данные для уяснения этих вопросов, а потому и перейдем к ней сейчас же.

1. Хронологическая кривая творческих периодов у Льва Толстого

Характеристика этой кривой

В приведенной здесь таблице мы воспроизводим в виде кривой те периоды жизни, на которые падает наиболее интенсивная творческая продукция Толстого, а также те периоды, где сказывается упадочность его продукции (подразумевается его литературно-художественная продукция). Периоды творческой продуктивности мы обозначаем в этой кривой, как европозитивные периоды (выступающие столбики на таблице). Периоды же творческой бесплодности или периоды упадка художественного творчества мы обозначаем как периоды эвронегативные (пробелы между выступающими столбиками). Каждый европозитивный период мы обозначаем в хронологическом порядке, как 1-й европозитивный период, 2-й европозитивный, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и т.д. Всего семь таких периодов, которым на абсциссе соответствуют хронологически годы этих периодов (или, вернее, приступов). Таким образом, для каждого такого европозитива и эвронегатива (так их будем называть условно) мы имеем соответствующий отрезок времени (в годах) и можем, таким образом, наглядно представить хронологическое развитие этих приступов.

Вглядываясь в эту кривую, нам бросается в глаза ряд особенностей, которые и отметим сейчас.

1-я особенность: всю кривую в целом, или иначе говоря, весь творческий путь Толстого можно разделить на 2 большие эпохи жизни.

1-я эпоха приблизительно до 48 летнего возраста. В эту эпоху европозитивные приступы преобладают и по длительности, и по блеску результатов творчества. В этот период создается все лучшее, что им было создано.

2-я эпоха от 48 лет. В эту эпоху преобладают эвронегативные периоды. За это время создается им сравнительно мало и теряется блеск, присущий 1-й эпохе его творчества.

2-ю особенностью этой кривой является то, что все европозитивные периоды (а их всего 7, как это мы видим на этой кривой) постепенно укорачиваются: 1-й длится около 7 лет, 2-й — 6 лет, 3-й — 4 года, 4-й — 3 года, 5-й около 1 $\frac{1}{2}$ года 6-й — $\frac{1}{2}$ года и 7-й — $\frac{1}{2}$ года. Таким образом, европозитивные приступы прогрессивно падают и уменьшаются и, наконец, совсем прекращаются.

Если мы обратим внимание на каждый такой европозитивный период в отдельности, что было создано по этим периодам, то мы видим следующее: в первые годы жизни, считая с периода половой

зрелости — 18 лет до 23 лет — мы видим нарастание творческих комплексов, которые выливаются в форме дневников.

С 23 года начинается 1-й европозитивный период, который тянется 6 лет приблизительно. Этот период дает: «Детство, отрочество и юность», кавказские и севастопольские рассказы. Затем этот прилив творчества резко обрывается и наступает период бесплодия, или, как говорят критики: упадочный период, длящийся также около 6 лет. В этот период — попытки создать что-нибудь большое оканчиваются неудачей. За это время им создается, во-первых, относительно мало и, во-вторых, произведения, созданные в этот период («Альберт», «Семейное счастье»), критики относят к наиболее слабым его произведениям.

2-й европозитивный период, наступающий в 1863 году, совпадающий с периодом женитьбы и первых 6 лет «Семейного счастья», самый блестящий период творчества Толстого. В это время создана «Война и мир».

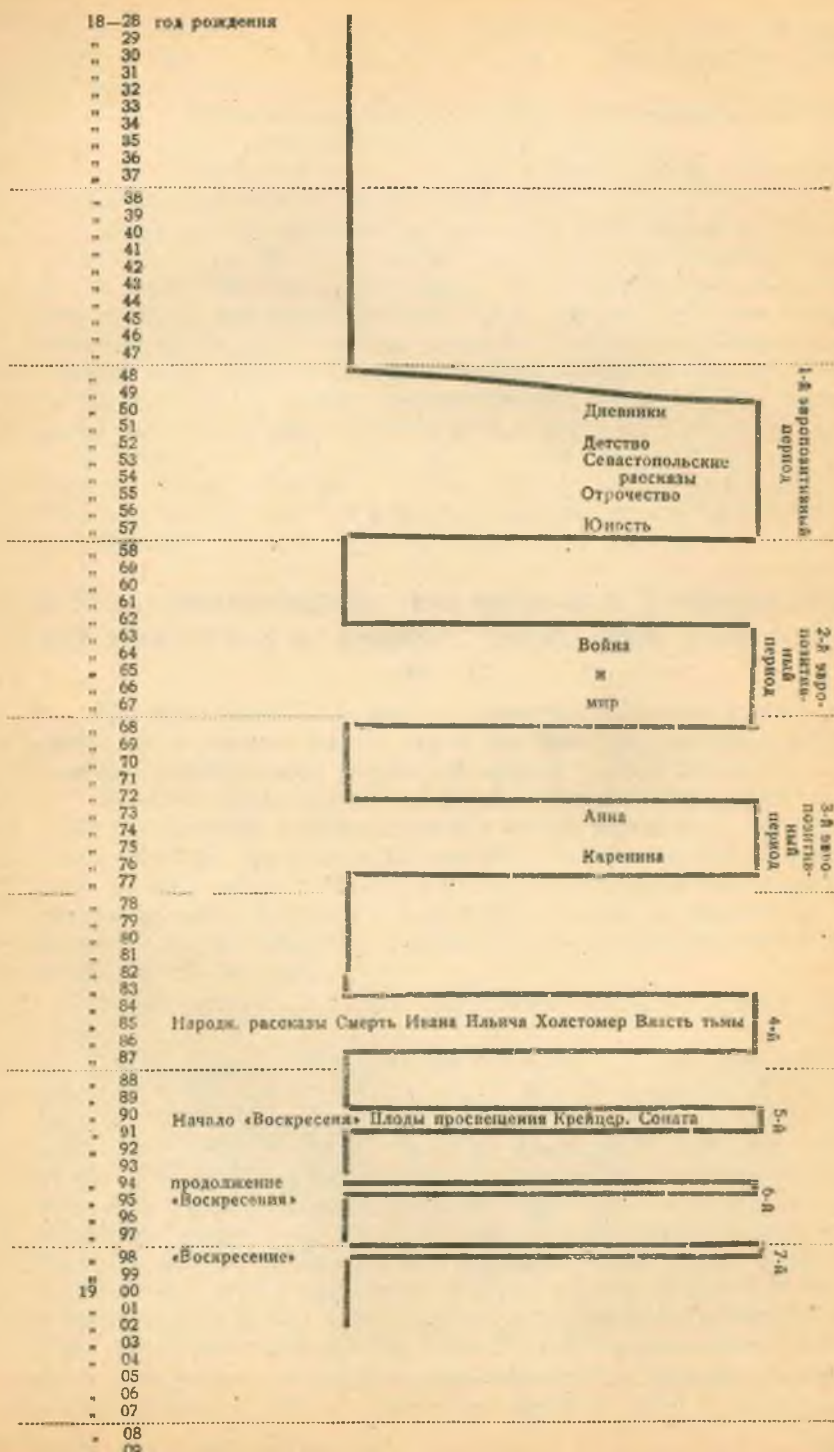
Прерывается этот блестящий период эвронегативным периодом (1869 — 1872). Здесь этот период начинается приступами, «Арзамасской тоски». Этот бесплодный период — кратковременен. Следующий европозитивный период творчества (1873 — 1876) есть 3-й блестящий период, давший «Анну Каренину». Можно сказать, что с этой эпохи упадочные эвронегативные периоды, бывшие до сих пор интермитентными, эпизодическими, теперь начинают быть более постоянными и длительными. Зато, наоборот, творческие европозитивные периоды, бывшие до сих пор более или менее постоянными, делаются интермитентными, наступают очень кратковременно, как вспышки: сначала на 3 года, затем на 1 год, а затем на $\frac{1}{2}$ года и т.д., все менее и менее, пока не наступает момент, когда творческие периоды являются только коротенькими вспышками на фоне длительного упадка, ставшего хроническим.

Эти коротенькие периодические промежутки вспышек творчества дают в 1884 — 87 г.г. следующие произведения — «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», «Власть тьмы» — произведения второстепенного значения; а в следующий еще более короткий период 1889 — 90 г.г.: «Плоды просвещения», «Крейцера Соната», начало «Воскресения». И на фоне длительного затем бесплодия — короткие вспышки дают: продолжение глав «Воскресения» в 1898 г. и в 1898 — 99 г. также продолжение «Воскресения».

Больше он ничего крупно-художественного не создает. Таким образом, из всех этих 7 европозитивных приступов (см. кривую) только первые 3 были наиболее блестящими и наиболее длительными, а с 1876 года с приступа «Арзамасская тоска» падает длительность творческих периодов настолько, что 4 остальные периода постепенно делаются все короче и короче и теряют тот блеск, который был присущ предыдущим периодам. Можно сказать, что с 1876 года начинается длительный эвронегативный период с вспышками творчества, носящего характер эпизодический.

Европозитивные приступы эпизодически вспыхивают и так же эпизодически прекращаются, следовательно, носят характер

Хронологическая кривая творческих (авропозитивных) периодов Л. Толстого



тер интермиссий. В особенности бросается в глаза этот интермитентный характер творческих периодов во 2-й половине, т. е. после 48 летнего возраста.

Эти особенности не являются случайным явлением, как мы увидим дальше, а есть закономерное явление.

3-я особенность в этой кривой касается характера эвронегативных (или бесплодных) периодов.

Прежде всего эти эвронегативные периоды в начале (в первую половину, т. е. до 48 лет) являются периодами, хотя и длительными, но все таки более короткими, нежели европозитивы этой эпохи. Но зато после 48 лет эвронегативные периоды имеют тенденцию увеличиваться все более и более, и, наконец, делаются перманентным явлением, в то время, как европозитивные периоды укорачиваются все более и более и, наконец, совсем исчезают. Таким образом, между европозитивами и эвронегативами существует обратное соотношение — чем более развиваются эвронегативы, тем более уменьшаются европозитивы; если больше развиваются европозитивы — эвронегативы уменьшаются.

2. Роль эпилептоидных механизмов в формировании европозитивных и эвронегативных приступов творчества

Перейдем теперь к объяснению и анализу вышеупомянутых особенностей, а также к рассмотрению тех факторов, которые способствовали формированию творческой кривой у Льва Толстого.

Было бы очень просто и наивно объяснить эту кривую тем шаблоном, который в таких случаях у многих возникает в представлении. Шаблон этот состоит в следующем: в молодые годы, дескать, расцвета гений создает лучшее, а в период начинающегося угасания физиологических функций — старости — угасает и творчество, а потому развитие творчества, связанное с развитием болезни его, — ничего общего не имеет.

Такой шаблон можно было бы навязать и по отношению к Толстому.

Годы расцвета его творчества совпадают с годами физической и умственной зрелости: с 23 лет до 48 летнего возраста. Но этот шаблон нас удовлетворить не может, ибо он не объясняет многого в жизни Толстого. Во-первых, раннее, сравнительно, появление упадочности, мистики в лучшие годы его жизни (48 лет), тем более у заядлого эпикурейца - реалиста Толстого. Естественно было бы, еслиб эта мистика появилась у старца 70 лет, но никак не в 48 летнем возрасте — в самый расцвет его долголетней жизни. А, во вторых, приступы мистики и упадочности не явились чем то новым в 48 лет, а являются результатом постепенного изменения в его психике, которое началось с юных лет. У Толстого этот перелом явился хотя и довольно резко к 48 годам, однако, аналогичные состояния в виде приступов были у него и раньше в молодые годы, если не так резко,

то всегда довольно определено. Кроме того, целый ряд других резких перемен в его психике и, вообще, вся картина развития его творчества, психики и его настроения — все говорит за то, что вышеупомянутый шаблон применить к нему никак нельзя. Здесь играют роль закономерности других механизмов. Здесь мы должны учесть все те психические переживания, которые переживает эпилептоид (вернее, аффект-эпилептоид). Структура его психики такова, что создает постоянную полярность психики, постоянную смену комплексов и постоянную внутреннюю напряженность, которая время от времени разряжается кризисами. Вся жизнь Толстого — это постоянная смена кризисов. Эти кризисы иногда и создавали периоды настоящих провалов, как это мы увидим ниже. Но мы знаем, что та же самая полярность в период хорошей компенсации может дать длительный период гипертимии, гипербулии, гипермнезии, в период которой эпилептоид может переживать длительный творческий подъем, прорываемый, правда, иногда упадочными интермиссиями. Таков был первый период с 23 лет до 48 лет, блестящий период творчества Толстого. В это время нам известно, что Толстой был по характеру диаметрально противоположен другому Толстому после 48 лет.

До 48 лет это был, как мы видели выше, возбужденный, экзальтированный, с необузданными страстями человек, легко вспыльчивый и раздражительный, иногда агрессивный с аристократическими замашками, гордый, самолюбивый, эксцентричный человек. Этот период, где все психические качества — на полюсе «Гипер» создает благоприятные условия для динамики и гиперфункции творческих комплексов. Творческий разряд в эту эпоху имеет свой основной стимул в эпилептоидной гипертимии. Падает этот стимул, падает и творчество. Толстой после 48 лет, когда полярность психических переживаний резко перебрасывается на другой полюс — где все его психическое состояние можно характеризовать в состоянии «гино» (гипотимия, гипобулия и и. д.), Толстой впадает сначала в депрессию и вместе с тем в мистику, делается «смирненным христианином», «непротивляющимся злу», готовым переделать весь мир по его мистической концепции, отказаться от своего барства и от всех благ жизни. Вообще все «толстовство», вся его этика и философия есть результат психического провала эпилептоидной психики, погубившей Толстого — великого художника. Такой переход от возбуждения к противоположному состоянию есть естественный результат диалектического развития психики эпилептоида.

Таким образом, вся вышеупомянутая кривая с его естественным разделением всего творческого пути Толстого на 2 большие эпохи, соответствует 2-м эпилептоидным состояниям: в 1-ю эпоху до 48 лет, в психической жизни Толстого доминирует эпилептоидное возбуждение. Во 2-й эпохе, начиная от 48 лет и до окончания жизни доминирует эпилептоидная депрессия, вместе с тем наступает сначала постепенное угасание, а потом отсутствие возбуждения. Толстой с этого периода впадает в постоянную депрессию, потом в состояние эпилеп-

тоидного смирения и делается неузнаваем для тех, которые знают Толстого 1-го периода.

Для первого периода, в свою очередь, периоды падения и возбуждения являются только эпизодами, интермиссиями (следовательно, не доминирующим фоном его психики).

Для 2-го периода жизни Толстого, начиная от 48 лет, самовозбуждение уже является эпизодическим явлением (эпизодическими приступами) на фоне уже перманентной гипотимии.

Таким образом: полюсы — гипер и гипо меняют свои роли. Полюс гипер дает Толстому возбуждение, а вместе с ним и творческую энергию: полюс гипо — падение возбуждения и падение творческой энергии. На место этого эвронегативные эквиваленты дают: упадочное «смирение» с его упадочными последствиями — мистикой, «толстовством» и прочими отрицательными явлениями для Толстого-художника.

Первой эпохе, таким образом соответствует преобладание европозитивных периодов; 2-му периоду эвронегативное состояние.

Этим самым мы дали объяснение 1-й особенности творческой кривой Толстого.

Из этого же основания вытекает и объяснение 2-й особенности: наступление вышеупомянутых 7 европозитивных приступов и их постепенному укорочению. Раз у него было 7 (длительных сначала, а потом коротких) приступов возбуждения, то столько же следовательно, у него и европозитивов: сначала также длительных, а потом коротких.

Однако, как мы уже отметили выше, европозитивное начало не сразу сменяется эвронегативным, а постепенно с закономерностью обратного соотношения между этими 2-мя началами. Чем больше наступает эвронегативное начало, европозитивное резко начинает сдавать, все более и более уменьшаясь и в длительности приступов и в блеске этих вспышек, пока совсем не угасает. Кроме того мы отметили эпизодический характер этих приступов. Чем объяснить эту закономерность эпизодичности и обратного соотношения между европозитивами и эвронегативами? Только закономерностью развития эпилептоидной психики.

Прежде всего сам факт резкого перехода от одной противоположности к другой (скачок от «гипер» к «гипо») является закономерным следствием явления полярности эпилептоидной психики (как это мы трактовали выше). Затем, самый факт эпизодичности гипотимии и гипертимии в обратном соотношении друг к другу есть также закономерное явление эпилептоидной психики. Мы знаем, что такого рода длительное возбуждение психики у эпилептоидов прерывается эпизодическим вклиниванием сумеречными состояниями, депрессиями и эпилептоидными «провалами» психики, которые всегда можно проследить при длительном наблюдении за ними. Затем, антагонизм этих 2-х начал также создает обратные соотношения: если преобладает одно начало, то оно вытесняет другое начало. Наблюдая за психикой таких аффект-эпилептиков длительный период времени, всегда можно

проследить это обратное соотношение, как мы это здесь отмечаем у Толстого. Вследствие этого европозитивные приступы и формируются в творческой кривой в обратном соотношении к эвронегативным периодам.

Теперь перейдем к рассмотрению развития отдельных эвронегативных приступов.

После 1-го европозитивного приступа, длившегося 7—8 лет, наступает 1-й эвронегативный период.

В этот период после постепенного нарастания возбуждения, достигшего приблизительно в 1857 году своего максимума, наступает резкая перемена в его психике в сторону упадочничества. Депрессия, мнительность, неудовлетворенность, приступы страха, искание смысла жизни и проч. В этот период он занимается педагогикой, 2 раза поездка за границу и 1-я поездка на кумыс в Самарскую губернию вызваны были необходимостью лечиться от этого тяжелого душевного состояния. В этот же период, а именно в 1862 году, во время смерти брата Николая у него был, повидимому, 1-й судорожный припадок (или ряд припадков) наступивших вновь после длительного перерыва с отроческих лет. «До 35 лет (пишет он, как мы видели выше в «Записках сумасшедшего») я жил и ничего за мной заметно не было, только в детстве до 10 лет было со мной что-то похожее...» Эти слова относятся именно к этим годам и в особенности к моменту смерти брата в 1862 году, когда ему было около 35 лет от роду. Он неоднократно говорит об этом моменте, как переломном моменте в его жизни, когда что-то случилось очень важное. Все данные говорят за то, что у взрослого Толстого в этот год начались припадки судорожного характера. К этому же периоду относится приступ сумеречного состояния, описанный в «Анне Карениной», в день получения Левиным согласия на брак от Кити (выше мы это место уже цитировали). Этот период был одним из самых тяжелых у взрослого Толстого до его женитьбы, это был период эпилептоидных «провалов». (Сам Толстой называл их психические «завалы»).

С этим же периодом совпадает и эвронегативный период в развитии творчества Толстого. Нет сомнения в том, что эти «провалы» и служили причиной его творческих провалов.

Литературная критика отмечает, что этот период — есть упадочный период его творчества в эпоху «молодого Толстого». Рассказы, написанные в этот период: «Семейное счастье», «Альберт», «Люцерн», критика считает наиболее слабыми, в особенности, если сравнить с блестящими произведениями Севастопольского периода и с «Детством», «отрочеством и юностью». Творческая продукция этого периода носит определенно упадочный характер. Этот эвронегативный период заканчивается вместе с концом его холостой жизни. С 1863 года у него начинается новая эпоха развития: новый европозитивный период, давший «Войну и мир».

2-й Эвронегативный период наступает с окончанием «Войны и мира», приблизительно в 1869 году, т. е. 7 лет спустя

после женитьбы. Приступы патологического страха смерти с тяжелыми депрессивными состояниями, бывшие и раньше в этот период, начинают все более и более обостряться. Наступает новый упадочный период, длившийся приблизительно с 1869 г., по 1873 г. т. е. около 4-х лет.

В этот период он также ничего не создает: литературная продукция падает. Попытка создать новое произведение о Петре I (для этой цели он собирает материал) нечего не дает. По окончании этого приступа и с наступлением нового европозитива он берется за «Анну Каренину». Однако, период созидания «Анны Карениной» не идет так гладко, как раньше и, прерывается время от времени вспышками эпилептоидных провалов. Так, например, в 1874 году у него был такой приступ. В 1876 г. наступает снова и на этот раз один из самых сильных эвронегативных приступов, который сыграл решающую роль в окончательном переломе его психического состояния. Нараставшие в предыдущие эвронегативные периоды приступы патологического страха смерти, вместе с галлюцинациями и тяжелыми депрессиями, на этот раз достигли кульминационного пункта. В этот период мы видим частые поездки в Самарскую губернию лечиться, но ожидаемых результатов эти поездки не дали.

Упадочное состояние данного эвронегатива является не только самым тяжелым, в сравнении с предыдущими, но и наиболее длительным. Да — можно сказать, что вместе с наступлением данного эвронегатива завершился блестящий период творчества Толстого и более не возвращался. Эвронегатив затягивается до конца его жизни и делается доминирующим. Меняются резко под влиянием этого его характер и его творчество. Наступающие после этого в дальнейшем европозитивы являются уже эпизодическими вспышками (как мы уже раньше отмечали) на фоне длительного упадочного состояния. В это время его продукция принимает мистический и упадочный характер. Он пишет «Исповедь», «В чем моя вера» и тенденциозные рассказы с целью «поучать добру». Эвронегативный период, длившийся с 1877 по 1884 год, один из самых длинных, если считать до времени наступления следующего европозитива. Как уже было сказано, последующие эвронегативные периоды, совпадающие с эпохой депрессивного «смирения», в сущности, не являются уже самостоятельными приступами, а носят характер продолжения длительного эвронегатива, а потому мы их здесь рассматривать не будем отдельно.

И так, из этого беглого обзора мы видим колоссальную роль эпилептоидных кризисов и в психике Толстого, на формирование эвронегативных приступов.

Мы видим здесь, что закономерное развитие эпилептоидной психики обуславливает собой развитие творческой кривой Толстого. В этом сказывается специфичность влияния эпилептоидных механизмов. И здесь мы видим опять таки логику диалектического развития эпилептоидного творчества: та же самая причина, которая способствовала блестящему развитию творчества эпилептоида, является причиной упадка и гибели творческой продукции Толстого.

3. Эпилептоидный характер содержания творчества Толстого

Эпилептоидные комплексы, как содержание его творческих комплексов.

Все критики, анализирующие творчество и личность Толстого, сходятся в одном: творчество его есть его автобиография, его «исповедь». Мы могли бы добавить к этому: его творчество есть его история болезни в художественных образах. Едва ли кто так мастерски сумел все симптомы своего страдания так искусно использовать, как Толстой. В этом отношении с ним конкурировал Достоевский.

Страдание эпилептоидной психики есть основное содержание всех его произведений. Красной нитью проходит это страдание во всех его произведениях. Как человек, который подвержен постоянному риску эпилептоидного или эпилептического припадка (также его эквивалентам), Толстой должен наиболее остро чувствовать свою «физиологию» и «власть тела» (как выражается Мережковский и друг.). В животном страхе за уходящее от них «тело», они чувствуют особенно обостренно эту «физиологию», в то же самое время чувствуют при этом также обостренно, уходящие от них психические функции (потеря сознания перед припадком). Переживая все эти приступы разрыва между «телом и духом» и находясь в постоянно напряженном состоянии в ожидании этих разрывов, у эпилептоида создается тяжелый невроз ожидания.

Постоянное ожидание приступа невольно и болезненно заостряет все внимание на это; создается доминанта внимания к телу, к «физиологии тела». Всякое малейшее изменение в теле (подергивание мышцы и пр.), сигнализирующее о возможном ужасе припадка, оценивается и тщательно изучается.

Отсюда делается понятным, почему Толстой знает, как никто, психические и психо-физиологические процессы жизни и их внешнюю форму проявления. Его творческий гений в целом ряде ослепительно-ярких картин воспроизводит эту жизнь с ее светом-тенью, со всей радугой ее красок, с живым трепетом мускулов и нервов.

Никто не описывал так, как он, как люди рождаются, женятся, воюют на войне, убивают жен, болеют и умирают. В описании «физиологичности» (по выражению многих авторов) в разных ее видах Толстой вкладывает свои личные физиологические переживания, связанные с эпилептоидной «физиологией», которая дает богатую гамму телесных переживаний.

Толстой мастерски использует эти переживания в своем творчестве. Его излюбленные темы, описание полов, сексуальных, «физиологических» переживаний, болезни, смерти, физические страдания, физическую боль; страдания он изображает во многих своих произведениях.

Нет лучшей модели для этой цели, как свои личные аналогичные переживания.

Вот почему Толстой в глазах критики получил звание «физиологического» писателя. Физиологичность тела, «плоть» были содержанием его страданий, а это, в свою очередь, и выработало в нем соответствующую «доминанту» его внимания. «Что у кого болит, тот о том и говорит», — вот причина, почему содержание творчества насыщено «физиологией», «проблемой тела». Его биология и его болезнь спроектировались в художественных образах и формах таким образом, что не могли не отразить «физиологические» особенности его страдания. Известно, что здоровый человек не чувствует ни своего «тела», ни своего «духа», он живет, работает, не замечая ни того, ни другого, ни своих органов. Но как только заболит какой-нибудь орган (сердце, желудок и пр.), человек начинает «чувствовать» свои органы; не зная анатомии, он начинает чувствовать свою личную анатомию, физиологию и локализацию того органа, который заболел. Это первый элементарный признак болезни. Эпилептик или эпилептоид при своей болезни не может локализовать какой-нибудь определенный орган, вместо такой локализации он ярче, чем кто-либо другой, «чувствует свое тело» в целом (или, вернее, «физиологичность» своего тела). Именно потому, вся суть его припадков суб'ективно им переживается, как тенденция тела «разстаться с духом» (потеря сознания, эквиваленты и пр. эпилептоидные переживания). Эпилептик необычайно остро чувствует возможность разрыва между его телом и психическими функциями, вот почему его внимание заострено к телу и психическому (аналогично чувству локализации больного органа при органических заболеваниях).

Вот почему у одаренных и гениальных эпилептоидов (или эпилептиков) проблемы «тела» и проблемы «духа» занимают их больше других проблем (Достоевский тому наиболее яркий пример).

С этой точки зрения нам делается понятным все творчество Толстого. Проблема «плоти» и тела, с одной стороны, и проблема «духа», проблема психологизма составляют все его творчество. Литературная критика давно отметила «психологизм» его творчества (на ряду с физиологическим). Критика единогласно отмечает, что Толстой один из величайших писателей — психологов и гениальнейший изображатель самых тонких физиологических и психических переживаний.

Обостренность внимания ко всему телесному, как точно также ко всему «психическому», вытекает, как было выше сказано, из той же патофизиологии эпилептоида.

Из всего этого следует, что если мы хотим анализировать происхождение источников Толстовского творчества, специфичность мастерства Толстого в изображении физиологического и психологического, то у нас есть один единственный путь для этого: изучивши личные особенности его физиологии и психологии (вернее, его личную п а т о - ф и з и о л о г и ю), мы должны установить связь между отдельными творческими комплексами с соответствующими комплексами его эпилептоидной личности.

К этому сейчас и перейдем. Причем сначала остановимся на связи эпилептоидных комплексов чисто физиологического характера, а потом эту связь установим с чисто психическими комплек-

сами. Центральным комплексом «патофизиологии» Толстого является его склонность к припадкам. Припадки, как известно, вызывают тяжелые переживания до их появления, или как эквиваленты их появления. Патологический страх, ожидание смерти в связи с припадками, и вообще комплекс предсмертных переживаний и заполняет психику эпилептоида и мучит его постоянно. Вот почему резко бросающаяся особенность творчества Толстого: все виды предсмертных переживаний в самых различных вариациях один из любимейших коньков Толстого.

И совершенно справедливо указывает Лсонтьев, что «по количеству трудов, произведения Толстого представляют собой в буквальном смысле слова анатомический театр; нет того вида смерти, который не упоминался бы у Толстого».

С нашей точки зрения это понятно: это самое большое место в психике Толстого, а потому оно заполняет его творческие комплексы. В изображении предсмертных переживаний самых различных форм смертей, описываемых Толстым, он везде кладет в основу свои личные предприпадочные переживания в самых различных вариациях. В примерах изображения смерти и предсмертных переживаний нет недостатка. (Смерть матери Никоденки в «Детстве», рассказ «Три смерти». Предсмертные переживания замерзающего в рассказе «Метель». Самоубийство Нехлюдова в рассказе «Заметки маркера». Переживания повесившегося Поликея в рассказе «Поликушка», смерть князя Андрея, старого князя Болконского, старшего князя Безухова. Самоубийство Анны Карениной, бросившейся под поезд. Покушение на самоубийство Вронского, смерть Ивана Ильича и проч. и проч.). В изображении всех этих предсмертных переживаний в самых разнообразных вариациях кладется в основу комплекс переживаний эпилептоида перед припадком. Какой бы анализ душевного состояния в изображении своего героя перед смертью он ни брал, везде психопатологу не трудно вскрыть эпилептоидный характер этих переживаний перед припадком. Но так как при предприпадочных состояниях имеется целая гамма психических переживаний, то, в зависимости от надобности, Толстой берет ту или другую вариацию этих переживаний. Всевозможные формы бреда, спутанности, галлюцинации им используются мастерски. Например, в рассказе «Поликушка» — бредовое состояние психики Акулины. Психически ненормальным изображается Альберт в рассказе того же названия. Галлюцинациями он пользуется, изображая Дутлова в рассказе «Поликушка» галлюцинирующим. Состояние спутанности он изображает во время психической болезни при родах Анны Карениной. Наконец, конвульсивные припадки (истерические) он изображает в припадках Никоденки и бабушки. (Детство и отрочество). Эпилептические судороги используются также как предсмертные судороги самоубийцы Нехлюдова в «Заметках маркера»; припадки Акулины в «Поликушке».

Изображение форм физических страданий и болезней изображает также в произведениях его: роды, страдания раненых на войне и их переживания перед тем, как идут на смерть в бой; всевозмож-

ные болезни — везде кладется в основу личный опыт эпилептоидной патофизиологии.

Однако, эта утонченность в наблюдении патофизиологического переносится также в обычную жизнь на обычную повседневную физиологию; на все телесные изменения и движения, происходящие в нормальном человеческом теле. Еще Мережковский указал на эту яркую особенность Толстого, на его мастерство в изображении человеческого тела и выразительных движений тела, на моторику тела. Можно сказать, что Толстой в этом отношении поступает так же, как поступают психиатры: по выразительным движениям душевно-больного узнавать состояние психики, предполагая, что здоровая психика имеет соответствующие выразительные движения, а поведение больной психики меняет и свои выразительные движения. Психиатр, таким образом, не имея возможности добиться у больного о его переживаниях от него лично, делает обратные наблюдения и выводы по выразительным движениям тела (позы, мимика, жесты, характер движения) узнает, что переживает данный больной, какие изменения в его психике и ставит соответствующий диагноз. Точно также и Толстой поступает в отношении своих героев. Рисуя своих героев, он прежде всего рисует их выразительные движения.

«Язык человеческих телодвижений, говорит Мережковский ежели менее разнообразен, зато более непосредствен и выразителен, обладает большею силою внушения, чем язык слов. Словами легче лгать чем движениями тела, выражениями лица. Истинную, скрытую природу человека выдают они скорее, чем слова. Один взгляд, одна морщина, один трепет мускула, одно движение тела могут выразить то, чего нельзя сказать никакими словами. Последовательные ряды этих бессознательных произвольных движений, отпечатываясь, наслоаясь на лице и на всем внешнем облике тела, образуют то, что мы называем выражением лица и что можно также назвать выражением тела, потому что не только у лица, но и у всего тела есть свое выражение, своя духовная прозрачность — как бы свое лицо. Известные чувства побуждают нас к соответственным движениям и, наоборот, известные привычные движения приближают нас к соответственным внутренним состояниям... Таким образом, существует непрерывный ток не только от внутреннего к внешнему, но и к внутреннему.»

Л. Толстой с неподражаемым искусством пользуется этой обратной связью внешнего и внутреннего. По тому закону всеобщего, даже механического сочувствия, который заставляет неподвижную, напряженную струну дрожать в ответ соседней звенящей струне, по закону бессознательного подражания, который при виде плачущего или смеющегося возбуждает и в нас желание плакать или смеяться, — мы испытывали при чтении подобных описаний, в нервах и мускулах, управляющих выразительными движениями нашего собственного тела, начало тех движений, которые описывает художник в наружности своих действующих лиц; и посредством этого сочувственного опыта, невольно совершающегося в нашем собственном теле, то есть, по самому верному, прямому и краткому пути, входим в их

внутренний мир, начинаем жить с ними, жить в них». *) Этому приему пользоваться обратным проэктированием от выражения тела к выражению психического, Толстой научил его опыт эпилептоидных переживаний, где тело постоянно о себе напоминает своими соответствующими изменениями, заостряет внимание к этим изменениям.

Сам Толстой об этой своей особенности, между прочим, говорит таким образом:

«Мне казалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы—желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста» (разрядка наша).

Если в использовании своих личных пато-физиологических комплексов Толстой достигает большого искусства, то в таком же использовании комплексов эпилептоидных переживаний чисто психического порядка—он достигает еще большего мастерства. Богатая гамма психических переживаний во время сумеречных состояний с большой любовью используется Толстым, когда ему нужно поставить своего героя в ситуациях исключительного характера. Выше мы указывали (глава 4 ч. 1) в описании душевного состояния Николеньки («в Отрочестве») он берет сумеречное состояние, пережитое им, как переживание Николеньки. Переживания Левина в «Анне Карениной», где ему нужно своего героя описать в особо исключительном состоянии (в день, когда он получает согласие на брак от Кити; также во время родов Кити), он также в комплексе сумеречного состояния кладет в основу этих переживаний. И вообще, где Толстому необходимо своего героя поставить в ситуации необычайных переживаний где по большей части герой не владеет собой, а действует под влиянием импульса, и инстинкта (например, психический процесс перед самоубийством Анны Карениной, Вронского; подвиг Ростова во время боя, в «Войне и мире» везде больше или менее рисуется картина сумеречного состояния данного героя, где герой действует «вне себя» в экстазе (например, в изображении душевного состояния на войне, для того, чтобы показать что человек переживает в «пылу сражения»).

Еще более богатый материал для обрисовки исключительных психических переживаний своих героев Толстой находит, пользуясь различными формами диссоциаций психики эпилептоидных и истерических личностей. Тут он дает полный простор тем полусознательным комплексам, которыми так насыщено Толстовское творчество. Все возможные вариации и нюансы полусознательных, полудремотных, грезоподобных и сноподобных состояний; всевозможные формы расщепления личности, присущие истеричным и аффект-эпилептоидам искусно переплетаются у него с реалистическим способом зарисовки действительности. Сам реализм его, благодаря этому, получает совершенно другой характер, как это мы увидим далее.

*) Мережковский «Толстой и Достоевский» т. X, стр. 17.

Эпилептоидные формы экстаза, ауральные переживания, гипермнестические формы провидения и, наконец, навязчивые состояния и галлюцинации—все эти состояния Толстой воплощает в творческие глыбы своих монументов. Как скульптор большого масштаба использует каждую глыбу, которой природа сама дала готовую форму, он использует ее для отделки под соответствующее изображение; если эта глыба по естественной своей пластичности имеет характер, скажем, торса—он отделяет под мощный торс. Отсюда мощностъ и стихийность этих монументов: они не надуманы, они результат использования гениальным художником природных недр богатой эпилептоидной психики.

Сделать анализ толстовского творчества—это значит указать, из каких недр, из каких глыб создавался тот или другой монумент. Вовсе не безразлично знать, где он эти куски сырья брал для своих целей. Чрезвычайно важно для социолога литературоведа, так и для европатолога вскрыть весь генез этих монументов, характер их формирования. Конечно, культивирующий жречество в литературе и искусстве скажет: какое мне дело до генеза и до вашей академической вивисекции, нам важен результат творчества, его воздействие на нас. Но социолог-литературовед так рассуждать не может. Поверхностным скольжением «эстетическими чувствами» по таким творениям, как Толстовские, где вложено столько могучего, стихийного нельзя подходить без такого анализа этих «недр». Для нас настала пора, когда необходимо изучать эти «недра» так же, как мы изучаем залежи медной руды. А это можно сделать только с помощью европатологического анализа этих недр, другого пути у нас нет.

Наука о творчестве имеет право, наконец, на существование, и эта наука без европатологии есть «плетение словес» без конкретного содержания, надуманный эстетизм. И в особенности это относится к таким гигантам, как Толстой и Достоевский.

Чрезвычайно характерным в творчестве Толстого является своеобразное использование тех состояний, которые являются результатом диссоциации психики эпилептоида.

Дело в том, что эпилептоид не может воспринимать внешний мир так, как это воспринимает в нормальных условиях циклотимный (или циклоидный) тип человека. Этот последний воспринимает внешний мир реально всей цельностью своего психического аппарата без расщепления. Подсознательные комплексы гармонично приспособлены настолько с аппаратом сознания и восприятиями внешнего мира, что не нарушают гармоничности его работы и поведения по отношению к внешнему миру.

Другое дело у эпилептоида. В силу постоянного разлада между работой подсознательных комплексов и восприятием внешнего мира, эти подсознательные комплексы имеют постоянную тенденцию насильственно вытеснять аппарат сознания и постоянно вклиниваться в это сознание, как инородное тело. Отсюда реальный мир эпилептоида имеет постоянную тенденцию ускользнуть от него, ибо он весь во власти «психизмов», которые как привязанные к ногам, гири постоянно тянут его вниз и погружают его в подсознательную сферу.

Отсюда постоянная борьба 2-х сил. Если восприятия реального мира и аппарат сознания берут верх—все идет нормально; но как только, в силу диссоциации, психики он «погружается» в этот подсознательный мир, мир реальный или ускользает, или поддерживается слабым контактом с аппаратом сознания и внешним миром. Таким образом, подсознательные компл. вклиниваются в сознание подобно психическим эквивалентам эпилептоидов по тем же механизмам, как *Petit mal*, как, «остановки жизни». Чем богаче подсознательная сфера творческими комплексами эпилептоида, тем интенсивнее это вклинивание. Творческие подсознательные комплексы пользуются всякой щелью аппарата сознания эпилептоида, и «вылезая» наружу, вытесняют реальный мир эпилептоида. Происходит борьба «2-х миров». Борьба эта есть результат диалектического строения психики эпилептоида. Реальный мир постоянно раздражает аппарат восприятия эпилептоида; чем больше он раздражает его, тем больше диссоциируется его аппарат сознания. Чем больше диссоциируется аппарат сознания, тем легче прорывается наружу «3-я сила» подсознательных творческих комплексов; чем больше прорывается подсознательных комплексов, тем больше ускользает реальный мир. Создается заколдованный круг противоречий. Одно противоречие тянет другое, одно отрицание тянет за собой другое отрицание.

В этой борьбе эпилептоид не находит себе покоя и он находится в постоянном метании от одного полюса крайности к другому. Таково и творчество эпилептоида Толстого, как это мы увидим ниже.

Толстой в силу вышеупомянутой структуры психики не может быть реалистом, описывающим внешний мир, ровным, спокойным повествованием, как это делают реалисты *sui generis*. Стоит только Толстому заняться описанием своего героя, как реальная установка к этому герою, сейчас же пропадает. Он невольно его «погружает» (как выражаются некоторые критики, которые поэтому ему приписывают особый метод «погружения») в один из своих личных бессознательных или чаще подсознательных комплексов, которые по форме, в сущности, суть психические эквиваленты эпилептоидных состояний.

Изучая все виды и степени «погружения», можно составить целую гамму этих состояний. От различных форм психических «провалов» (или, как их Толстой сам называет «завалов») — бессознательных состояний, до высших степеней обострения психических функций гипермнезии, гипертимии и проч.)

Всю эту гамму эпилептоидных форм «погружений» можно расположить примерно в следующей классификации.

I. Комплексы бессознательных состояний, как формы «погружения» (психические «провалы» или «завалы» по выражению Толстого).

I. Различные формы «погружений» в виде сумеречных состояний, сопровождающиеся следующими симптомами.

II. Комплексы подсознательных состояний, как формы «погружений».

1. Сумеречные состояния, сопровождающиеся ступором и автоматизмами.

2. Сумеречные состояния, сопровождающиеся аффектом гнева и импульсивными действиями.

3. Сумеречные состояния, сопровождающиеся приступами патологического страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера.

4. Сумеречные состояния, сопровождающиеся аффектом патологической ревности с импульсивными действиями.

II. Различные формы, «погружений» в виде легких сумеречных состояний, сопровождающиеся следующими симптомами.

1. Легкие сумеречные состояния, носящие характер грезоподобных или сноподобных состояний.

2. Легкие сумеречные состояния, сопровождающиеся экстазом «счастья», когда все люди кажутся эпилептоиду необычайно «добрыми» и «хорошими».

3. Легкие сумеречные состояния, сопровождающиеся экстазом, когда эпилептоид впадает в тон пророка или проповедника - моралиста, бичующего пороки людей и лживость.

4. Сумеречные состояния (легкие формы и тяжелые), сопровождающиеся экстазом и приступом ауры, когда эпилептоиду кажется, что он воспринимает «откровение» бога.

III. Прочие формы «погружения».

1. Форма «погружения», когда подсознательный комплекс

как бы конкурирует с реальными восприятиями и реальными переживаниями внешнего мира.

а) Комплекс «внутреннего монолога».

в) Комплекс «внутреннего диалога».

Перейдем теперь к иллюстрации всех этих форм «погружения» соответствующими примерами.

а) Пример „погружения“ героя в комплекс сумеречного состояния, сопровождающегося ступором и автоматизмом

Как пример формы такого погружения, где Толстой использует комплекс сумеречного состояния (ему хорошо знакомый по его личным переживаниям) для своих творческих целей, приведены здесь переживания Пьера Безухова в «Войне и мире» в момент казни и после казни пленных французов. Здесь Толстому необходимо показать душевное состояние человека, приговоренного к смертной казни и реакцию поведения такого человека после отмены этой казни. Переживши аналогичное состояние во время его неоднократных припадков, он «погружает» своего героя в такое же состояние и этим самым достигается мастерство глубокой психологической правды в художественных образцах.

«Пьер не помнил» как долго он шел куда. Он в состоянии совершенного бессмыслия и оупения ничего не видя вокруг, себя передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том, кто же, наконец, приговорил его к казни?

«Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и повели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он терял способность думать и рассуждать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него — желание, чтобы поскорей сделалось что то страшное, что должно было быть сделано.

Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и воднение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.

Когда ему стали завязывать глаза, он сам поправил узел на затылке, который резал ему; потом, когда приставили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом подождали

было неловко, он поправился и, ровно поставил ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская малейшего движения.

«Должно быть послышалась команда, должно быть, после команды раздался выстрел 8-ми ружей. Но Пьер, сколько ни старался вспомнить потом, не слышал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились, и как фабричный, неестественно, опустив голову и подвернув голову, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

«Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленями вверх, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопаты земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба и никто не отгонял его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда, Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. 24 человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам в то время, как роты проходили мимо них.

Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат, с мертво-бледным лицом, в кивере, свалившись назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело.

После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой разоренной и загаженной церкви.

Перед вечером караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили. Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он

сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не сообразил того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.

«С той минуты как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими его делать, в душе у него как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такой силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь не в его власти.

«Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, спрашивали о чем-то, потом поведи куда-то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.

«И вот, братцы мои... тот самый принц, который...» с особенным ударением на слово «который» говорил чей-то голос в противоположном углу балагана.

«Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел перед собой то же страшное, в особенности страшное своею простотой лица фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

«В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было 23 человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

«Все они потом, как в тумане, представились Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго, круглого.

«Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом, его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представлялся в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда (разрядка везде наша).

В этом описании сумеречного состояния мы видим последовательно, как развиваются все этапы этого психического комплекса.

Сначала описывается состояние ступора и автоматизма. «Пьер не помнил, как он долго шел и куда. «В состоянии совершенного бессмыслия и оцепенения, ничего не видя вокруг себя», он передвигал ногами вместе с другими, как автомат. А когда все остановились, тогда автоматически и он остановился.

Когда ударили барабаны, у него «как будто оторвалась часть души». Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. Затем он постепенно теряет и эту способность слышать. «Должно быть послышалась команда, должно быть после команды раздалась выстрелы 8-ми ружей. Но Пьер, сколько ни старался вспомнить, потом не слышал ни малейшего звука от выстрелов». Он видел только... тело расстреленного и всю картину вокруг со всеми мельчайшими подробностями, притягиваемый подробностями этой картины, но в то же время в бессознательном состоянии Пьер даже побежал к столбу. «Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба....

После казни, когда вечером ему об'явили, что он прощен и не будет казнен, он, «не понимая того, что ему говорили», встал и пошел с солдатами, которые привели его в лагерь для военнопленных. Здесь он продолжает находиться в ступорозном состоянии. «Он слышал слова» но не понимал их значения. «Он отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры и все они казались ему одинаково бессмысленны».

Замечательно, что Толстой характеризует это состояние, как будто в душе его «вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора», т. е. здесь он впадает в состояние психического «провала». Впадает в бессознательное состояние, когда наступают бредовые или галлюцинаторные явления, описываемые им образно, как «куча бессмысленного сора». Отсюда нам делается понятным его другое образное выражение, что он делал время от времени «чистку души» от этих «завалов» с «кучей бессмысленного сора». Здесь же он признается, что этот комплекс сумеречного состояния с его «завалами» для него не новость, а хорошо знакомое переживание. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такой силой, как теперь.

Прежде, когда на Толстого находило такого рода состояние «завалов», они имели источником собственную вину. «И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и их сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни только бессмысленные развалины». Здесь этим сказано, что припадки «завалов», раньше будучи не так сильны, зависели от его же поведения. Припадок вызывался сильными аффектами, которых он мог избегать. В данном случае случилась травма, вызванная внешними обстоятельствами, независимыми от его воли. Повидимому, он исполь-

зовывает здесь ту большую травму в 1862 году, когда умер его брат, вызвавшую наиболее сильный приступ. И этот комплекс переживания он использует для изображения переживания Пьера во время и после казни. Проследим дальнейшее развитие этого комплекса в изображении Толстого.

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было 23 человека пленных. И все они в такую необычайную минуту жизни не только не запечатались (вспомним, как обычно люди, находящиеся в заключении, при таких чрезвычайных обстоятельствах сближаются и потом на всю жизнь запоминают друг друга, даже если они и люди разного лагеря и не симпатизируют друг другу,) но «все они потом, как в тумане, представились Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и отождествлением всего русского, доброго и круглого».

Таким образом, признается Толстой, ко всем другим у него осталась полная амнезия (обычная после сумеречных состояний), но один комплекс—Платон Каратаев запал в его душу в необычайном свете. Платон Каратаев нарисован Толстым обыкновенным русским солдатиком, который любит юродствовать «во христе», переносящий покорно и без ропота все, что с ним ни случилось бы.

И здесь в отношении Пьера к Платону Каратаеву Толстой рисует новый этап сумеречного состояния: из состояния автоматизма, сумеречное состояние переключается часто у эпилептоидов в состояние патологического экстаза. Толстой рисует дальше состояние Пьера также переключенным в это состояние экстаза и, благодаря этому, делается понятным, почему появилось такое восторженное экстатическое отношение к Платону Каратаеву. В этом состоянии экстаза поле сознания сужено, за исключением комплекса Платона Каратаева, который завладевает им полностью, вытесняет все другое настолько, что по отношению к другим пленным у него полная амнезия («как в тумане»).

Доминирующий комплекс—Платон Каратаев—есть содержание его экстатического состояния. Он для него необычайный человек. Он для него делается «святым», дорогим человеком, он олицетворение всего «русского, доброго и круглого». В экстазах у Толстого всегда, попавшие в поле суженного сознания, те или иные личности необычайно «добры» несмотря на то, что объективные данные противоречат этому. Вспомним такой же экстаз Лизина, когда он в день получения согласия Кити на брак, попал на заседание, где члены заседания ссорились между собой, ему же в счастливом экстазе казались все необычайно «добрыми» и необычайно «хорошими».

Затем, замечательно то, что Платон Каратаев в этом экстазе кажется ему «олицетворением круглого».

Ниже мы увидим, что это означает. В состоянии экстаза мы имеем у эпилептоидов и истеричных своеобразные оптические переживания, во время которых предметы кажутся или сильно уменьшенными (симптом микроопсии) или увеличенными (симптом макроопсии)

и мегалоопсии) или, наконец, деформированными и извращенными в длину или в ширину, как будто предметы закругляются или удлиняются (симптом метаморфозопсии). Вот такого рода извращения формы в сторону закругления и казалась в этом экстазе личность Каратаева Пьеру (см. ниже главу 4).

в) Пример „погружения“ героя в сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом гнева с импульсивными действиями

Пример такого рода «погружения» мы приводили в главе 4 (1-й части этой работы). Там мы приводили иллюстрацию приступа сумеречного состояния с импульсивными действиями у Николеньки.

Более яркий пример мы приводим ниже (см. «Пример погружения» героя в комплекс сумеречного состояния, сопровождающегося аффектом патологической ревности с импульсивными действиями).

г) Пример „погружения“ героя в сумеречное состояние, сопровождающееся комплексом патологического страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера

Выше мы видели, что для комплекса предсмертных переживаний Толстой использует эпилептоидные сумеречные состояния. В другом случае, где предсмертные переживания героя ему нужно изобразить не в исключительной обстановке (как это имело место выше, в изображении предсмертных переживаний перед расстрелом Пьера Безухова), а в обстановке, если можно так выразиться, естественной, не насильственной смерти, тогда он использует другую форму эпилептоидных переживаний—комплекс патологического страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера.

Изображая предсмертные переживания князя Андрея после тяжелой раны, он выбирает именно эту форму, а не другую.

Приведем здесь соответствующее место из «Войны и мира»:

«Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставало ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытывал—почти понятное и ощущаемое.

«Прежде он боялся конца. Он два раза испытывал это страшно-мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

«Первый раз он испытывал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним, и он смотрел на живые, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживающего его гнета жизни, распустился

этот цветок любви вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

«Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило никого не любить, значило — не жить этою земною жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая (без любви) стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: «ну, что же, тем лучше».

«Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закружилась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидел Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству; его мучил вопрос о том, жив ли он. И он не смел спросить этого. Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним задва дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшееся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неизвестным (разрядка наша).

Прежде всего отметим, что к моменту, когда писались строки этого отрывка Толстым, ему уже хорошо знакомы были эти тяжелые приступы патологического страха смерти. Таким образом, приблизительно между 33—40 годом его жизни (когда он создавал «Войну и мир»), тяжелые припадки страха смерти были «болезненным местом» в его жизни.

«Прежде он боялся конца», но по видимому, они не были тяжелыми. Но тяжелых приступов было у него 2 к этому периоду, «он два раза испытывал это страшно-мучительное чувство страха смерти; какими симптомами сопровождалась эти тяжелые приступы, мы сейчас посмотрим. Но прежде обратим внимание на одно чрезвычайно важное обстоятельство в этом симптомокомплексе. Всегда, когда Толстой говорит где бы то ни было о своих припадках страха смерти, всегда у него тут же связывается упоминание о необычайных переживаниях экстаза и о каких-то мистических переживаниях «неземного блаженства».

Кажется, если человек «нормальным образом» умирает и, если он переживает тяжелый приступ страха смерти, то может ли быть тут речь нормальным образом о каком-то «блаженстве» «необычайном счастье» и проч. У Толстого же всегда тяжелый приступ страха тут

же переключается в нечто противоположное, в какое-то «блаженство» экстаза. Так и здесь. Он нам повествует: что князь Андрей умирает, умирает молодым, любимым, умирает бессмысленно и он знает и чувствует, что он умирает, он даже «умер наполовину» (говорит Толстой) и тут же отмечается, что «он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия...» «То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытывал, «почти понятное и ощущаемое» (Разрядка наша).

Что же такое эта «радостная, странная легкость бытия» в устах человека, который переживает тяжелые приступы страха смерти? Это есть то переключение психического эквивалента в другой эквивалент—ауры, о котором была речь выше.

Дальше Толстой поясняет, что это переключение последовательно происходит мгновенно (как обычно у эпилептоидов). «Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним, и он смотрел на живые, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть».

Здесь невольно возникает мысль, что этот первый тяжелый приступ у Толстого был во время севастопольской кампании, когда он действительно был в опасности быть убитым гранатой. Но это только предположение. Дальше мы видим уже переключение страха смерти в экстаз.

«Когда он очнулся (повествует дальше Толстой)... и в душе его мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней» (Разрядка наша).

Следовательно, это переключение происходит «мгновенно», как это бывает обычно у эпилептоидов. Экстаз мистической, «вечной любви», «не зависящей от этой жизни»—«странная и радостная, легкость бытия» освободивший его в этот момент от «гнета жизни», т.-е., от тех тяжелых припадков страха смерти, которые довели его до того, что он едва мог удержаться от самоубийства, все это—тот знаковый симптомокомплекс эпилептической ауры, хорошо известной клиницистам. Тут же мы видим источник поворота в жизни Толстого, как он дошел до своей мистической концепции «вечной любви». Он, как утопающий, хватается за эту «соломинку», чтобы таким образом разрешить проблему освобождения от «гнета жизни». К такому исходу может прийти только патологическая концепция эпилептоида.

Далее мы видим развитие этого комплекса эпилептоидного экстаза, послужившее в дальнейшем причиной его известного перелома в сторону мистики.

«Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда... вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви (замечательно здесь признание Толстого, что «новое начало вечной любви»

кем то открыто ему, как мистическое «откровение». Он не пришел к этому «началу» каким бы то ни было умоизрядительно философским путем), тем более он сам, не чувствуя того, отрекался от земной жизни... и от земной любви. Когда же «вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: «ну, что же, тем лучше». Тут это место надо понимать так: если приступы страха смерти будут повторяться, то и приступы экстаза, давшие и «открывшие ему» «новое начало любви» будут повторяться, а потому «тем лучше». Душевная борьба между этим «новым началом» и «земным началом» есть содержание его нравственной борьбы, которым страдал Толстой всю жизнь. Как бы некоторую «отсрочку» от исхода, к которому он впоследствии пришел благодаря этому «новому началу» мистики, дала ему любовь к Софье Андреевне—его женитьба и первые годы семейной жизни.

«...Когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал и, когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закрадась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту... он теперь не мог возвратиться к тому чувству (т. е., к «новому началу любви»), его мучил вопрос о том, жив ли он? и он не смел спросить этого».

Дальше эта душевная борьба изображается так (под символической душевной борьбой перед смертью князя Андрея): «Болезнь его шла своим физическим порядком» (т. е., прибавим мы, приступы страха повторялись и повторялись у Толстого), но то, что Наташа называла: это сделалось с ним (курсив Толстого), случилось с ним два дня перед приездом княжны Марии. Это была «та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний покоренный припадок ужаса перед неведомым».

Попросту говоря, здесь имеется в виду последний припадок страха смерти, возобновившийся после ряда лет семейной жизни. «Передышка» кончилась, болезнь снова возобновилась и снова ему напомнила, что он дорожит «земною жизнью». Словом, это был последний припадок ужаса перед «неведомым», появившийся уже с новыми симптомами, подготовивший уже в следующем припадке окончательный переворот, давший уже потом окончательную победу «новым началам» над «земной жизнью».

Каков был этот новый последний припадок с его новыми симптомами, мы сейчас увидим. Припадок этот изображается в виде сновидения князя Андрея (также обычный прием Толстого изображать психологические переживания в виде сновидения.)

«Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить,

удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит о н о. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое—смерть—ломится в дверь, и надо удерживать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия—запереть уже нельзя—хоть удерживать ее; но силы его слабы, неловки и надавливаемая ужасным дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

«Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я—умер, я проснулся. Да, смерть—пробуждение», вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, было приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

«... Это то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи...»

В этом описании в форме сновидения князя Андрея припадка эатологического страха, мы имеем следующие новые симптомы: страх смерти сопровождается галлюцинациями устрашающего характера. За дверью стоит «оно», «оно ломится» в дверь, «смерть ломится в дверь». Он борется с ней за обладание дверью, чтобы не встретить ее, «но силы его слабы» в этой борьбе. «Оно надавило оттуда», «оно вошло» и он будто умер. Что это не сон, а действительно галлюцинация, пережитая Толстым во время этих припадков, говорит нам характерное для эпилептоида переключение в экстаз, часто сопровождаемое во время припадков у Толстого. Причем этот экстаз он вводит символически как «пробуждение» в то время, как припадок страха смерти он маскирует сновидением.

«Да, это была смерть. Я умер—я проснулся. Да, смерть—пробуждение», «вдруг просветлело в его душе», и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его». (Разрядка наша). Следовательно, здесь—тот же экстаз после припадка, как было выше отмечено. Новым здесь для нас является: появление галлюцинации устрашающего характера во время припадка страха смерти, что уже делает нам понятным, почему Толстой, бывши далеко не трусливым человеком (во время се-

вастопольских боев даже «заигрывал со смертью») впоследствии, чтобы избавиться от этих приступов, готов был покончить самоубийством. Будь это простая психастеническая фобия смерти или просто неопределенный страх смерти, вряд ли бы он так тяжело переживал и придавал бы такое значение в своей жизни. Другое дело галлюцинация устрашающего характера, преследовавшая его, и причинявшая ему ужасное и тяжелое переживание, могла действительно привести к самоубийству.

Другим новым моментом в описании последнего припадка является признание, что «с тех пор (т. е. с момента появления этого последнего припадка) «та страшная легкость» «не оставляла его» и всегда сопровождалась, как переключение (после припадка). Повидимому, раньше приступы страха не сопровождались этим переключением. Только с ростом тяжести приступов оно появилось как постоянное явление.

д) Пример „погружения“ героя в сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом патологической ревности с импульсивными действиями (убийства)

Ярким примером использования такого комплекса переживания мы имеем в «Крейцеровой сонате». Здесь в лице Позднышева Толстой с замечательной правдивостью развивает нам всю картину сексуальной жизни эпилептоида, со всеми ее противоречиями, которая в конце концов доводит его до приступа сумеречного состояния, сопровождающегося аффектом патологической ревности, доходящей до убийства. Здесь мы укажем только на тот момент, когда Позднышев под влиянием аффекта впадает в то сумеречное состояние, когда бешенство ревности, доходящее до экстаза мщения, приводит эпилептика к убийству.

«... вдруг толчок электрический и просыпаешься. Так я проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между ней и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мое сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор,—говорил я себе,—нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что то вроде наемного скрипача, известного за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за недепость!» —представлялось мне, с одной стороны. «Как же этому не быть?»—представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне, и чего поэтому нужно было и другим, этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящем в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удерживать его? ничего. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только, как животное. А животное ничто не может, не должно удерживать.

«... Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Брейцеровой сонаты сыграли какую то страстную вещь, не помню кого, какую то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? говорил я себе, вспоминая их лица, разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? И разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними. Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. «Я с ужасом вспомнил теперь этот пережваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено», говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое: «это что-то нашло на тебя, этого не может быть», говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег свечку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску, и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу не разрешающихся противоречий,—курил, и я курил одну папироску за другой для того, чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.

«... Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми.

«... Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучиться». И тотчас же чувствительность над собою исчезла, и явилось странное чувство—вы не поверите—чувство радости, что кончится теперь мое мучение, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее что я могу дать волю моей злобе. «И я дал волю моей злобе—я сделался зверем, злым и хитрым зверем»..

«... Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Чтож ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, я сижу, а они там едят и смеются, и Да, не смотря на то, что она была уже не первой свежести, он не побрезгал ею, все-таки она была не дурна, главное-же было, по крайней мере, безопасно для его драгоценного здоровья. И зачем я не задушил ее тогда, сказал я сам себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад вытолкнул ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были

для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты и все только с одной определенной целью»...

«...Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в носках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и очень острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, что я сказал себе: надо после найти их, а то пропадут. Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягкоступая в одних носках, пошел туда»...

«И, подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение потому, что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражения ужаса, которое выступило в первую секунду на лицах их обоих, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услышав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На лице его было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то-же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если-бы оно было одно, может быть, и не случилось-бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере, показалось мне в первое мгновение, было огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей, как будто, ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас-же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет?

Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что?... Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него,—заботсь о нем.

На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиной.

В это то мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А мы вот музицировали...

— Вот не ждала, — в то-же время начала она, покоряясь его тону, но ни тот, ни другой не договорили: то-же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства, и отдался ему.

«... Оба не договорили. Началось то другое, чего он боялся, [что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудь. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидел, и, чего я никак не ожидал от него, он схватил меня за руку и крикнул: «опомнитесь, что вы!... Люди!...»

«... Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел, как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Эта была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала меня. Неожиданная эта помеха, тяжесть, и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было-бы смешно бежать в носках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попала. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней кроме этого страха и ненависти ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если-бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом.

— Опомнись! Что ты! Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего. Клянусь! Я бы и еще помедлил, но эти последние слова, по которым я заключил обратное, т. е., что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответственно тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло «egrescendo» и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

— Не лги, мерзавка!—завоюил я—и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда я, все-таки не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была.. Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я, как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

... «Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают,—это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтобы возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться.

Я знал, что я ударяю ниже ребер, и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал, и которое будет иметь ужасные последствия. Но с о з н а н и е т о м е л ь к н у л о, как молния, и з а с о з н а н и е м т о т ч а с-ж е с л е д о в а л п о с т у п о к. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того, как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убивал и убил женщину, беззащитную женщину, — мою жену! Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас-же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно-ли поправить».

Здесь мы имеем описание Толстым аффекта с импульсивными действиями, доводящими до убийства в сумеречном состоянии, как нельзя более красочно изложенное; в нем мы можем проследить последовательное нарастание комплекса ревности.

«Вдруг толчек электрический и просынаешься». Комплекс ревности его опять захватывает ..«ужас и злоба стиснули мое сердце». Аффект начинает расти, но сознание еще не сужено, критика своего положения еще сохранена. Он пробует бороться с этим наступающим комплексом. «Я стал образумлять себя», борьба начинается с самим собой, развивается «внутренний диалог» — дискуссия за и против основательности подозрения в виновности жены. «Да, все кончено — говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое: «это что-то нашло на тебя, этого не может быть», говорил этот другой голос. Но комплекс ревности берет свое, аффект захватывает его все более и более, сужается поле сознания, здравый смысл и критика окончательно вытесняются. Наступающее сумеречное состояние вызывает в нем тот ужас и страх, которые всегда сопровождают у Толстого в таких случаях: «мне жутко стало лежать в темноте», «мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке.» Всю ночь он не спит и на утро летит к себе домой.

Случилось так, что подозреваемое лицо было действительно в гостях у его жены, и этого было достаточно, чтобы аффект ревности настолько завладел им, что наступает полное сумеречное состояние с экстазом ...«и явилось странное чувство, Говорит он—«ч у в с т в о р а д о с т и, что т е п ь я м о г у н а к а з а т ь е е... «что могу дать волю злобе»... «И я дал волю моей злобе—я сделался зверем, злым и хитрым зверем», — добавляет он. ...«Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты и все только с одной определенной целью... Я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства, и отдался ему»...

Замечательно это упоение экстазом в момент, когда он видит беспомощность своей жертвы — его жены, а выражение ее ужаса

и ее попытки защитить себя разжигают его аффект до максимума, он испытывает «мучительную радость» при этом и он убивает ее с тонким расчетом в точности его действия.

Толстой дает анализ этому состоянию и замечательно то, что в этом анализе отмечает обострение психических функций (гипермнезию), необходимых для данной цели убийства. Сознание в этот момент не только не затемнено, но, наоборот, чрезвычайно обострено. «У бешенства есть тоже свои законы», отмечает он; «когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить, чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, т. е. сила гипермнезии росла *сгевcendo*, в соответствии с силой аффекта. Однако, сознание до максимума сужено и сила «света сознания» освещала лишь один тот комплекс, который захватил его, и который нужен для данной цели «... помню, говорит он, ... всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы»..., следовательно мы имеем здесь полное сужение сознания, кроме данного комплекса, кроме «света сознания» необходимого для данной цели... «Но сознание это мелькнуло, как молния» (говорит он) и за сознанием тотчас же следовал поступок, т. е. убийство. Итак, здесь мы имеем пример «погружения» героя в один из видов сумеречных состояний, который оканчивается в состоянии бредового экстаза ревности при полном «свете сознания», импульсивным действием.

е) Пример „погружения“ героя в легкое сумеречное состояние, носящее характер снопоподобного или грезоподобного состояния

Один из любимых приемов Толстого — «погружение» своего героя в снопоподобное или грезоподобное состояние. Истеричные и эпилептоидные личности чрезвычайно богаты такими переживаниями. В этих случаях эти комплексы переживания носят характер легких сумеречных состояний, где более или менее суживается поле сознания данной личности, но контакт с внешним миром поддерживается какими-нибудь раздражителями внешнего мира. Подсознательные комплексы в виде грез или сновидения обильно разворачиваются, но носят характер реальных давно пережитых событий жизни.

В ниже приведенном отрывке в рассказе «Метель», Толстой использует такое переживание для обрисовки душевного переживания замерзающего человека во время метелицы у сбившихся с дороги путников. С присущим ему мастерством и умением выбирать то, что ему нужно из его богатой лаборатории подсознательных комплексов, замечательно то, что он выбирает эту форму «погружения», как наиболее психологически верную для замерзающего человека. Приведем здесь этот отрывок:

«Одна нога начала у меня злбнуть и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку,

проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать, но мне было, вообще, еще тепло в обогретой шубе и дремота клонила меня».

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что все кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, думаю я, вроде Федора Филипыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые, на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепиано из флигеля; вижу Федора Филипыча с завороченными рукавами нанкового скюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручки, подталкивает тут, пролезает между ног, всем мешая и озабоченным голосом кричит, не переставая:

— На себя, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору заноси в двери! Вот так!

— Уж вы позвольте, Федор Филипыч, мы одни,—робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филипыч не унимается.

«И что это, — рассуждал я: — думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно-быть, так». И я вижу почему то пруд, усталых дворовых, которые, по колено в воде, тянут невод, и опять Федор Филипыч с лейкой, крича на всех, бежит по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я, по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то, я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные, колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольства и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно, так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтобы утешиться, но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетывают с травки на травку. Я гляжу вверх: глазам больно, — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком: становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробы в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршин от

меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и также, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то нивом, вдоль по пруду. Слышны смех, говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забила о около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот, около самой клумбы, слышу торопливые шаги и испуганный женский говор...

«... И вот я вижу мою добрую, старую тетюшку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который, почему-то, так несообразен с этою ужасною по своей простоте картиной смерти, и лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне, с наивным эгоизмом любви, сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

«... Помню, как ярко и жарко оксало солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине выбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые, белые, кудрявые тучи сбились на горизонте; как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась, и как, проходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

«... Но валец этот звучит — как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более, что я знаю, этот валец есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит его замолчать. И валец этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая забнет, я засыпаю».

Анализируя этот отрывок, мы можем отметить, что в переживании этого комплекса все время сохраняется контакт с раздражителями внешнего мира. Холод, замерзающая нога, рыжий «советчик» (ямщик), «что все кричит из вторых саней», звяканье колокольных тройки, мысли об угрозе замерзнуть в дороге — раздражители, вызывающие целый рой подсознательных комплексов.

Рыжий «советчик» вызывает картину комплекса воспоминания рыжего Федора Филиппыча «старого буфетчика», его домашней обстановки в деревне и целый ряд картин, где Федор Филиппыч так же «кричит» и командует: он «командует» на дворовых во время переноски из флигеля фортепиано; во время, когда дворовые тянут невод в пруду и проч.

Чувство холода и постепенное замерзание вызывает у него комплекс июльского зноя с его поэтическими картинками в де-

ревне на берегу пруда. Звон колокольчиков тройки ассоциируется с звуками ритмических ударов валька по мокрому белью. «Валек этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию». «Жарко... хочется выкупаться, но мысли о возможности замерзнуть вызывают картину смерти утопленника на пруду, старую тетушку, ... но валек этот звучит опять, звук этот мучит его, тем более, что «этот валек есть колокол. . . Валек есть тот комплекс, который, «как инструмент пытки, сжимает ногу, которая зябнет»...

Таким образом, эти грезы на яву — все время последовательно разворачиваясь, сохраняют тесную связь с внешними раздражителями, несмотря на «погружение» в сумеречное состояние.

г) Пример „погружения“ героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся экстазом счастья, когда все люди кажутся ему необычайно „добрыми“ или „хорошими“

Патологический экстаз эпилептоида, во время которого весь мир освещается в каком то преувеличенном и неестественном «счастливым» экстазе, когда обыкновенные люди делаются «добрыми и хорошими», что вызывает эмоцию любви к ним независимо от их качеств и достоинств — Толстой переживал неоднократно. Этим переживанием он особенно дорожил и мастерски также использовывал для «погружения» своих героев в особо торжественные моменты жизни. Например, чтобы выразить «счастливое» состояние влюбленного, Левин в день получения согласия Кити на брак, Пьер Безухов перед тем, как он собирался сделать предложение Наташе Ростовой, погружаются им в одно и то же состояние, обрисовываются в удивительно сходных чертах.

Приведем описание такого «погружения» Пьера Безухова (Война и Мир):

«Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались занятыми только одним—его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастье. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жаждал их и испытывал желание как-нибудь об'яснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.

«Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие-нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от того или иного исхода события зависит счастье всех людей, он слушал с кроткой, соболезнующей улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, т.е. его чувство,

так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, — все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.

«...Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, во внутренних сомнениях и противоречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«...Может быть», думал он, «я и казался тогда странным и смешным, но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив».

«...Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того, чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их. (разрядка наша).

Перейдем теперь к анализу этого отрывка.

Прежде всего, сам Толстой этот комплекс экстатического переживания Пьера рассматривает, как «радостное, неожиданное сумасшествие», как «время счастливого безумия», или просто, как «время безумия». В это период признается он: «казался он странным и смешным».

Из контекста этого отрывка определенно вытекает, что Толстой сам считает это состояние патологическим. «Сумасшествие», «безумие» здесь им употребляется не в переносном смысле, а в смысле ненормальных переживаний Пьера. Здесь мы имеем не простую эйфорию влюбленного, а описание патологического экстаза эпилептоида. Прежде всего характерна внезапность появления этого комплекса. Толстой говорит о «внеожиданном сумасшествии», которое «внезапно овладело им». Нормальная эйфория не появляется так внезапно. В чем заключалось это «радостное сумасшествие», Толстой тут же нам подробно освещает. Будь это простая эйфория обычного влюбленного человека, он не уделил бы столько внимания анализу этого чувства. Но необычайность этого переживания заставляет его останавливаться подробно. Весь мир, все люди своими стремлениями, делами, словами, «намекали» на его «счастье», «притворяясь занятыми другими интересами». Толстой признается, что «он часто удивлял людей, встречавшихся с ним» его странным и ненормальным переживанием, «странными замечаниями». Повидимому, только при прояснении полного сознания «когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их»... и считал, «что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания».

Как бы влюблен ни был человек в нормальном состоянии влюбленности, все таки он не потеряет критерия оценки всего важного, что делается вокруг его другими людьми. Только при патологическом сужении поля сознания, может все казаться «вздором и пустяками», кроме его чувства «счастья». Замечательно то, что в этом экстазе все люди без исключения («хорошие и нехорошие»), «в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства», что он во всяком человеке видел все, «что было хорошего и достойного любви». Кроме того, оценка людей за этот период времени осталась для него навсегда верным, а впоследствии он даже прибегал к оценке людей и вещей, которые он имел во время «безумия», и «выгляд этот всегда оказывался верен».

Но замечательнее всего в этом признании то, что в переживании этого «безумия» Толстой говорит: «я был тогда умнее и про-ни-ца-те-ль-нее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни».. т. е., что он переживал тот гипермнестический симптомокомплекс, когда обостряются все интеллектуальные качества, отчего эпилептоиду кажется, что в это время он «умнее и проникательнее». Вспомним здесь, что Левину во время его такого же экстаза тоже казалось, что он «умнее» в этот момент (см. выше главу 4 «Приступы сумеречных состояний»).

г) Пример „погружения“ героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся экстазом, когда данная личность впадает в тон проповедника-моралиста, бичующего пороки людей и протестующего против лжи и порочности людей

Для иллюстрации такого примера мы берем рассказ «Люцерн», где комплекс такого переживания обрабатывается Толстым в самостоятельный рассказ.

Многие герои Толстого наделяются ролью «проповедников правды», бичующих ложь и всякого рода несправедливость, но эти «проповеднические комплексы» описываются как эпизоды. В «Люцерне» на таком комплексе строится весь рассказ. Потому берем его, как пример.

Как всегда, всякого рода переживания сумеречного состояния начинаются с переживания аффекта. Поэтому Толстой начинает свой рассказ с развития этого аффекта.

Приехавши в швейцарский городок Люцерн и остановившись в одном из лучших отелей, он тут же об этом заявляет:

«Когда я вошел наве́х, в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня.

Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, за щеко́тать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

И так, под влиянием нарастающего аффекта у него является потребность сделать «что-нибудь необыкновенное», импульсивное.

В таких случаях эпилептоиду достаточно привязаться к какому-либо поводу, который подвернется первым. Он спускается в ресторан обедать и здесь все его начинает раздражать. Но вскоре, как это обычно бывает у Толстого, мрачное настроение психического провала под влиянием нового какого-нибудь раздражителя, в данном случае под влиянием пения, переключается в экстаз и восторженное состояние.

«На таких обедах, говорит он устами Нехлюдова, мне всегда становится т я ж е м о, н е п р и я т н о и п о д к о н е ц г р у с т н о. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!» — в то время как в жидках бьется молодая кровь, а в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства подавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно: все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, ничего не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые очевидно повторялись в сто-тысячный раз на том же месте и в сто-тысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глухие же и не бесчувственные, и, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни — наслаждения друг с другом, наслаждения человеком?

«... Мне сделалось г р у с т н о, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу. Узенькие, грязные улицы, без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, или в шляпках, постоянно оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне стало ужасно душевно-холодно, одиноко и тяжело, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

«Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцаргофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живоительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проклик в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отраднo п о р а з и л и м е н я. Я невольно, в одно мгновение, успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся

месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро, с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики дятлушек из Фрешенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке, на середине улицы, полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человечка в черной одежде.

«...Я подходил ближе, звуки становились яснее...

«...Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и предельность. В душе моей как будто распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеяния, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? — сказало мне невольно. Вот она, со всех сторон обступает тебя, красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, — чего тебе еще надо? Все твое, все благо...

«Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиралец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человечку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне.

Как всегда в таких случаях экстаза у Толстого найден объект для оправдания причины экстаза: уличный певец — причина «переворота» в его душе. Объект этого «переворота» — певец — начинает занимать все поле внимания, поле сознания суживается, все остальное вытесняется и теряется объективная критика. Зато певец (подобно Каратаеву у Пьера Безухова) захватывает весь комплекс его экстаза и потому он, уличный певец, получает необычайную оценку, как будто он самое высшее совершенство среди певцов, а главное: он так эмоционально сливается с этим певцом, как будто певец этот — он сам.

Случись, как на грех, что этому уличному певцу никто из богатых слушателей этого отеля не дал ни копейки. И вот тут то начинается «буря в стакане воды». Комплекс «счастливого» экстаза переходит в комплекс «бурного протеста».

«... Я совсем растерялся, не понимал, что все это значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человечка, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человечка, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мной смеялись. Я тоже, не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой, на крыльцо Швейцаргофа. Я не отдавал еще

себе отчета в том, что испытывал: только что-то тяжелое, неразрешившееся, наполняло мне душу и давило меня.

«...Я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который — усталый, может быть, голодный — со стыдом убегад теперь от смеющейся толпы, — понял что таким тяжелым камнем давило мое сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнув его локтем и, спустившись с под'езда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человечек».

В результате он догоняет ушедшего певца, возвращает его и начинает угощать вином.

Но тут его начинает раздражать все более и более отношение ресторанной прислуги к этому факту. Аффективное состояние развивается все более и более.

«...Таким образом мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стеснясь, любоваться нами, и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился все больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку, и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня уж был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие или тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у под'езда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом, он грубо рассказывает рядом со мной? Я совсем озлился тою кипящею злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждая даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

— Чему вы смеетесь? — закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

— Я не смеюсь, я так, — отвечал лакей, отступая от меня.

— Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости? Не смей сидеть! — закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

— Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не сажались со мной рядом? От того, что он бедно одет и поет на улице, — от этого? — а на мне хорошее платье? Он беден, но он тысячу раз лучше вас, в этом я уверен, потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

«... Но во мне все больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я все припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

«...Я с радостью ожидал, что придут выводить нас и можно будет, наконец, вылить на них все свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

«...Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил все, что оставалось в бутылке, с тем, чтобы только поскорее обратиться отсюда. Однако, он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощение.

«... Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется, жаловавшийся на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного.

«... Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу с тем, чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь, и, признаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем, или англичанином и доказать им всю их жестокость и, главное, несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил, и один-единешенек стал взад и вперед ходить по набережной (Разрядка везде наша).

И так, аффект его достиг того состояния, что он готов сделаться агрессивным: «я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню». Он готов идти на скандал и для чего это все? Чтобы доказать всем их несправедливость и выразить протест. Однако, никто на этот скандал не пошел, даже бедный уличный певец, испугавшись скандала, скорее ушел от него, а все остальные, говорит Толстой: «смотрели на меня, как на умалишенного».

Этот маленький факт превращается у него в событие громадной исторической важности: «для истории прогресса и цивилизации», записывает он жирным шрифтом в рассказе, как бы для назидания человечества, таким образом:

«Седьмого июля 1857 года в Люцерне, перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, страствующий нищий-певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего и многие смеялись над ним» (курсив Толстого).

«.. Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Затем его гнев разряжается в проповедническом тоне длинной тирадой. Тут уже перед нами обличитель, бичующий во имя гуманности, цивилизации, законности и проч., как будто мы все это слышим в риторической форме с амвона...

«...Но событие, происшедшее в Люцерне 7-го июля, мне кажется, совершенно ново, странно, и относится не к вечно дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

«Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого, сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди в своих палатах, митингах и обществах, горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, — не находят в душе своей простого, первобытного чувства человека к человеку?

«Равенство перед законом?.. Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрений общества и т. д.»

Несоответствие между громадным гневом обличителя с ничтожным, сравнительно, фактом, на который затрачен этот гнев, невольно ставит Толстого в этом рассказе в положение стреляющего пушками по воробьям.

Передовые люди из дворянско-помещичьей среды, где вращался Толстой, искали разрешения социальных противоречий (к чему,

сущности, и сводится весь этот маленький факт со странствующим певцом) в революционной борьбе классов. Такие современники молодого Толстого из его же среды, как Герцен, иначе разрешали эти противоречия. Толстой же, «пострелявши пушками по воробьям», приходит к разрешению этих противоречий таким образом;

«... Бесконечна благодать и премудрость того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть его законы, его намерения, — только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит со своей светлой, неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из закопов общего. Нет, ты со своим маленьким, пошленьким негодованьем на лакеев, — и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного».

К такому мистическому разрешению социальных противоречий могла привести только сумеречно-затуманенная психика эпилептоида. Будь Толстой не эпилептоид, он эти противоречия (которые он чувствовал не менее остро других из его среды) разрешал бы так, как его передовые современники из его же среды. Ему же мешала его эпилептоидная установка: изживание комплекса с социальным содержанием у него выливается «пошленьким негодованьем на лакеев» в сумеречном состоянии.

h) Пример „погружения“ героя в сумеречное состояние, сопровождающееся приступом психической ауры и экстазом, когда появляется „откровение“ с богоискательским содержанием

Для иллюстрации этих форм «погружения» см. главу 6 в 1-й части этой работы, где мы указывали на эти приступы психической ауры с подобными богоискательскими «озарениями» его героев. Почти у всех главных героев его больших романов имеются эти переживания (Пьер Безухов, князь Андрей, Левин и друг.).

Так как эти «озарения» имеют автобиографическое значение для понимания его религиозного переворота, то здесь же для нас возникает вопрос, как мы можем объяснить генез душевного переворота Толстого, давший в результате после длительного богоискательства утверждение мистики и веры в бога.

На это нам сам Толстой отвечает, что генез его богоискательства и мистического утверждения бога не есть результат философской концепции, а результат патологических переживаний, результат патологического настроения.

В «Исповеди» он говорит нам (глава XIV): «Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искательство не из моего хода мыслей — оно было даже прямо противоположно им, — но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежда на чью то помощь (разрядка наша)... Это есть результат тех патологических приступов страха эпилептоида, о ко-

тором была речь выше. Этот патологический страх, как эквивалент припадка, может, как мы видели выше также в психике эпилептоида,—переключиться в патологический экстаз, в эпилептическую ауру, которая даст то чувство патологического «блаженства» и «озарения», которое сопровождается эпилептоидным «откровением божьим». Вот в это «откровение» и уверовал Толстой «сердцем».

«Душевное расстройство (говорит Толстой в «Анне Карениной») все усиливалось и дошло до такой степени, что он уже перестал бороться с ним, он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда неиспытанное счастье» (разрядка наша), т. е. мистическое разрешение его богоискательства в смысле утверждения его веры.

Вот здесь то в этих словах и кроется вся разгадка его переворота — патологический генез его веры и мистики.

Изменившееся настроение его психики в сторону отлива возбуждения и переключение их под влиянием патологических факторов в состояние «смирения» тем более способствовало восприятию этой ауры за «откровение божие», «за счастье».

Что его богоискательство связано с патологическими приступами страха и с припадками патологического экстаза и ауры, вытекающих из этих же приступов страха, видно из следующего самопризнания в «Исповеди», где отмечается подготовительный процесс этих колебаний.

«Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

«Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога — говорил я себе — нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь, — нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление да еще неразумное.

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? — спрашивал я себя. Понятие-то откуда взялось?». И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу.

«Понятие бога — не бог, — сказал я себе. — Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходит во мне, и напомнил себе эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь: стоит мне знать о боге, и я оживу; стоит забывать, не верить в него, и я умираю.

Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так, чего же я ищу еще? — вскрикнул во мне голос. Так вот он. Он — то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь.

Живи, отыскивая бога и тогда не будет жизни без бога. И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня» (разрядка наша в этой цитате).

Если мы читаем это место из «Исповеди» и не знаем о патологических переживаниях Толстого, то оно совершенно непонятно для здравого смысла реально мыслящего читателя. Но нам делается понятным это место, когда мы знакомы с его специфическими переживаниями эпилептоида. Толстой несомненно эти патологические переживания маскировал (сознательно или бессознательно) обычными «житейскими» формами изложения. Но все таки эти отрывки остаются мистически туманными и чужды здравому смыслу. Только с помощью психопатологических комментариев они становятся понятными и расшифрованными. Посмотрим, что хотел сказать Толстой в этом отрывке. «... Сотни раз (говорит он) я приходил в эти положения радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни»... т. е. много раз он подвергался приступам патологического страха смерти и доходил до отчаяния, до невозможности жить; много раз, с другой стороны, он впадал в экстаз «радости» и иногда поднимались «радостные волны жизни», появлялись озарения ауры и тогда: «все ожило, получило смысл». Но радость моя продолжалась недолго, это были только моменты «озарения» в состоянии эпилептоидного возбуждения. Тогда только «понятие бога» казалось положительно разрешенным. Этого он не мог не заметить, поэтому он вскоре приходит к заключению: «... понятие бога — не бог..., ... понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе». Иначе говоря: просто зависит от его патологических приступов возбуждения, которые отчасти зависят от него самого (если он спокоен этих приступов не бывает; если он возбуждается — эти приступы появляются).

«Это не то, чего я ищу» — разочаровывается он наконец, и здравый смысл подсказывает ему, что в патологических переживаниях искать утверждения бога есть абсурд.

Между тем, приступы болезни продолжались и стали еще тяжелее, приступы страха смерти стали сопровождаться галлюцина-

циями. Он продолжал «умирать» (как он выражается), эти приступы доводят его до желания окончательно покончить с собой.

Но и тут утопающий эпилептоид хватается за соломинку «спасения» и начинается окончательный переворот в сторону мистики и таким образом взвешивая доводы за и против бога, он однажды делает новый вывод (с помощью которого отчаявшийся эпилептоид готов себя обмануть, лишь бы была хоть какая-нибудь соломинка для «спасения»). «... Тут я оглянулся... я напомнил себе эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога (т. е. когда были приступы ауры, во время болезни). Как было прежде так и теперь: стоит мне знать о боге и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю»... Иначе говоря: когда есть экстаз, возбуждение, аура—он «живет»—знает бога; нет экстаза, а есть приступы страха смерти — он «умирает».

Что же такое эти оживления и умирания? «Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его». Так чего же я ищу еще? вскрикнул во мне г о л о с, и тут, повидимому, «голос» — слуховая галлюцинация—решает все дело и он восторженно вскрикивает: «Так вот он. Он — то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить—одно и то же. Бог есть жизнь. Т. е. бог есть та «жизнь» и та галлюцинация, которая явилась у него в состоянии ауры и подкрепила его в сомнении: — «Живи, отыскивай бога и тогда не будет жизни без бога», — говорит ему голос галлюцинации. «И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня...» и патологическая аура взяла верх над здравым смыслом...

Вот генез его мистики, вот происхождение его религиозного переворота.

Однажды Толстой высказал ценное признание, которое также подтверждает наше положение о патологическом генезе его религиозного переворота. В воспоминаниях В. А. Абрикосова мы читаем:

«...Лев Николаевич заинтересовался болезнью моей жены и разговор перешел на ту тему, что болезнь может сыграть хорошую роль в жизни человека. Лев Николаевич высказал свое мнение, что болезнь, отрывая человека от светской жизни, полной суеты, помогает ему сосредоточиться, разобратся в своей душе и оглянуться на свою жизнь. Сознаются ошибки, появляются новые запросы, пробуждаются более возвышенные и идеальные стремления и болезнь приводит иногда не только к совершенствованию, но и к перерождению человека. (Разрядка наша). В. А. Абрикосов. Воспоминания его встречи с Толстым в 1885 г. (цитир. по Н. Н. Апостолову «Живой Толстой», 1926 г.).

Это мнение Толстого «что болезнь приводит иногда не только к совершенствованию, но и к перерождению человека» есть несомненно результат его личного опыта, а потому имеет ценнейшее значение для европатологического понимания душевного переворота Толстого

и вообще всей его личности. Не переживши лично и не убедившись в справедливости сказанного Толстой не мог бы утверждать такое положение, которое для обывателя звучит парадоксом.

Между прочим, в «Записках сумасшедшего» после описания приступа «Арзамасской тоски» в Москве, у Толстого прорывается такая фраза:

«...Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои глупки о вере, о боге происходили от болезни».

Отсюда следует, что даже для близких ему людей бросалась в глаза патология его религиозных переживаний и религиозного переворота.

1) Прочие формы «погружения»

Среди самых разнообразных форм «погружения», надо отметить здесь еще некоторые другие формы. Для этого отметим здесь следующую особенность восприятия внешнего мира эпилептоидов. Эпилептоид никогда не может воспринимать внешний мир, внешние впечатления без того, чтоб у него не было внедрения подсознательных комплексов, даже там, где он обязательно хочет и стремится быть объективным и реальным. Как инородное тело вклиниваются эти комплексы и тянут его в область подсознательного, делают его крайне субъективным и мешают ему быть реалистом до конца.

Таков и Толстой. Как только он начинает описывать какогонибудь из своих героев, как тотчас объективное и вполне реальное описание прерывается какимнибудь «монологом про себя» или «диалогом про себя».

Эти отступления далеко не соответствуют обычным «лирическим отступлениям» писателей не эпилептоидного типа.

По существу эти отступления «про себя» суть одна из форм «вклинивания» подсознательных комплексов, часто совершенно немотивированных (или слабомотивированных) ходом данного рассказа. Они появляются как внедрения посторонних подсознательных комплексов не дающих возможности эпилептоиду быть последовательным реалистом до конца рассказа. Такого рода внедрения аналогичны такому же насильственному внедрению комплексов сумеречных переживаний (или прочих эквивалентов). Они также появляются как насильственные интермиссии. В силу диалектического строения психики они суть проявления той же борьбы антагонистов: борьбы между реальным миром эпилептоида и нереальным миром подсознательных комплексов (см. ниже главу о реализме И. Толстого).

На основании этого мы эти отступления «про себя» рассматриваем как особую форму «погружения».

4. Стиль и техника письма Л. Толстого. Влияние на них эпилептоидных механизмов

а) Эпилептоидный характер реализма Толстого

В этой главе обратим внимание на стиль и технику Толстовского письма. Здесь также мы имеем характерные проявления эпилептоидной психики в эпилептоидном творчестве.

Принято считать в критической литературе Толстого реалистом. Однако, его реализм не укладывается в рамки тех реалистов, которым дается это название по праву. Реализм Толстого носит тот своеобразный характер, который присущ писателям с эпилептоидной установкой психики. Вернее, можно было-бы говорить о стиле Толстого, как о стиле «психологического реализма» в эпилептоидном предположении или короче: о стиле «эпилептоидного психологизма». Восприятия внешнего мира у эпилептоида вовсе не так реальны, как это, например, у циклоидных личностей с действительно-реальным мироощущением. Эпилептоидная личность всегда одержима той или иной формой психической диссоциации. Постоянная напряженность и страх потерять свое «тело», свою «физиологию»; или же тот же страх потерять сознание, постоянная изменчивость этого сознания в ее эквивалентах (грезно-подобное, сумеречное состояние, «остановка жизни», психические «провалы», экстатические и ауральные переживания и пр. и пр.) — все это вырабатывает у эпилептоида заостренное внимание и к реальному и, в равной мере, к нереальному, к физическому и к метафизическому; или он чувствует этот физический, реальный мир обостренно или наоборот, он цепляется как утопающий за свои ауральные переживания, которые он также чувствует обостренно. Находясь в таком неустойчивом мироощущении, он потому или «слишком» реалист или «слишком метафизичен». Чаще всего та и другая установка переплетаются между собой: то он во власти «черствур» реального, то во власти «черствур» нереального. Реальные переживания эпилептоид любит описывать в стремлении компенсировать свое чувство малоценности, а чувство малоценности вырабатывается у него постоянным страхом потерять реальное мироощущение во время частых «погружений». Он всегда цепко хватается за всякую реальную мелочь доказывающую ему, что он реально существует, как все другие, чтоб убедить себя и других в своей полноценности.

Мало того, он хочет «перещеголять» других в убеждении, что он действительно имеет реальное мироощущение, точно так же как невротик - заика стремится не только уничтожить недостаток своей речи, но и сделаться блестящим оратором; иначе говоря, не только компенсировать недостаток, но и достигнуть гиперкомпенсации.

Вот почему эпилептоид - художник заостряет все свое внимание на реализм, вырабатывает доминанту на мелочи реального мира. «влюбляется» в эти мелочи.

Таким образом, можно говорить, что реализм Толстого есть гиперкомпенсация против эпилептоидного тяготения к нереальному, миру метафизики

и мистики. Реализм его есть компенсация невротика, чтобы спастись от всевозможных «погружений» нереального мира. Так мы должны рассматривать Толстовский реализм. Однако, в такой компенсации ему помогает способность эпилептоида видеть предметы, явления природы, людей, их психические процессы сквозь призму гипермнестического обострения; способность «видеть» все необыкновенно ярко, подчеркнуто-преникновенно (см. ниже в главе «симптоматология творческих приступов о значении гипермнезии в творчестве Толстого»). Что касается его тяготения к нереалистическим переживаниям, то это обратная сторона монеты эпилептоидной натуры. Выше мы видели, что в психику Толстого всегда выдвигаются всевозможные формы «погружения» патологического характера. Если для суб'ективной жизни эпилептоида эти «погружения» ему кажутся реальными, то для читателя и е эпилептоида они далеко не реальны. Тем более, что эпилептоидный писатель любит обволакивать эти переживания густой пеленой мистики и метафизики, тем более когда эти последние, в свою очередь, обрабатываются в литературно-художественные рамки кистью большого художника.

Крайние тенденции к реализму и противоположному — к нереальному, метафизическому, есть логическое следствие той же диалектики природы эпилептоида. Поэтому мы и оцениваем реализм Толстого как реализм эпилептоидного стиля. Все последствия, вытекающие из такого реализма, мы увидим в следующих главах.

в) Эпилептоидная склонность к обстоятельности и детализации

Тенденция рассказывать или описывать что либо чрезвычайно подробно, обстоятельно, потребность распространяться обо всех мелочах, детализация этих мелочей — черта эпилептоидной психики. Об этой склонности подробно распространяться о чем либо и склонности к обстоятельности говорит сам Толстой таким образом: «я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям, и именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. (Дневник молодости Льва Толстого. Москва, 1917 г., т. I). Клиницистам уже давно известна эта своеобразная особенность эпилептоида. Утрированное внимание к мелочам вытекает из постоянной «демпингиты» внимания ко всяким мелким проявлениям «тела» или «духа» сигнализирующие припадок (или «эквивалент»). Заостренное внимание к «мелочам» есть результат постоянной диссоциации между эпилептоидным «телом» и эпилептоидной психикой. Постоянная настороженность и боязнь предвестников вырабатывает условный рефлекс — доминанту к мелочам, к деталям. Отсюда и Толстовская склонность к этим мелочам. Недагом Овсянко-Куликовский называл это свойство Толстого: «разменом больших духовных ценностей на мелкую ходячую монету».

Эпилептоидная заостренность внимания к мелочам в глазах эпилептоидного художника большого масштаба превращается в громадную силу. Зная по личному опыту эпилептоида, что «мелочами» начинаются часто «большие события» в его телесных и психических

переживаниях («остановки жизни», припадок), он в описаниях своих мастерски пользовался мелочами и давал им выпуклые характеристики, значительно больше говорящие о данной личности, нежели описания главных черт или общее описание персонажей.

Справедливо указал Эйхенбаум, что эта склонность ничего общего не имеет с лирическими отступлениями романтических писателей, где также любовь к таким отступлениям вытекала из их лирической, романтической настроенности и была, наоборот, признаком «хорошего тона и вкуса», а не «дурной привычкой», как выражался о себе Толстой. Эта «дурная привычка» вытекала из органической потребности эпилептоида к обстоятельности в рассказе и потребности распространяться в мелочах и деталях. Эпилептоид Достоевский, который так же, как и Толстой, вследствие одной и той же органической причины, страдал той же «дурной привычкой» к обстоятельности и детализации мелочей, говорит об этом в «Братьях Карамазовых» устами Ивана:

«Иногда видит человек такие художественные сны... с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений, до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит».

Здесь нам Достоевский определенно указывает на эпилептоидный генез склонности к детализации в гипермнестических переживаниях. Когда эпилептоид переживает гипермнезию (здесь Достоевский как это делает часто и Толстой, под видом сновидения подразумевает гипермнезию, появление которой не исключается, впрочем, и в форме сновидений), обострение интеллектуальных переживаний идет у него по двум крайним направлениям: или в сторону обострения мельчайших деталей — «до мелкой пуговицы на манишке», или же в другую крайность, в сторону «высших проявлений», «высших материй» — в сторону абстракции, ведущих к «генерализациям» и к обобщениям метафизического характера. Подчеркивая эти 2 полюса эпилептоидного интеллекта, Достоевский ясно указывает нам эпилептоидный генезис этого явления и этим самым дает нам ключ к пониманию склонности к детализации эпилептоида.

е) Эпилептоидная склонность к повторениям и подчеркиваниям („приставания“ к читателю)

Однажды, сравнивая себя, как художника, с Пушкиным, Л. Толстой сказал Берсу, что разница их, между прочим, та, что Пушкин описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем, он же как бы пристает к читателю с этой художественной подробностью, пока ясно не растолкует ее.

И, действительно (это отметила и литературная критика), Толстой своими бесчисленными повторениями одной и той же детали, «пристает» к читателю. Эта особенность письма у Толстого не случайное явление, а также органически вытекает из его эпилептоидной природы.

Эпилептоидные натуры имеют склонность повторяться, распространяться, в резких случаях «топтаться» на одном и том же месте, на

одних и тех же деталях; иногда отмечается до утрировки стремление быть «упорным» на этих деталях, «вязнуть» на одних и тех же местах, что делает их речь своеобразной и производит то гнетущее впечатление «приставания», стилистического упрямства, иногда даже назойливости. Конечно, у Льва Толстого не так резко выражено, как это здесь мы отмечаем. Надо принять во внимание, что Толстой в своих работах не торопился, старался тщательно обрабатывать свои произведения, переписывались они у него до 7 раз, и все таки это «приставание» обращает внимание читателя; несомненно эту черту надо отнести к вышеупомянутым особенностям эпилептоидной речи. Тем более, что об этой особенности говорит сам Толстой как о своем недостатке. Надо думать, что в его рукописях необработанных, это «приставание» выражено еще резче. Приведем здесь ряд примеров таких повторений—«приставаний», которые приводил Мережковский в своих исследованиях о Толстом.

«У княгини Болконской, жены князя Андрея, как мы узнаем на первых страницах «Войны и мира», «хорошенькая, с чуть черневшими усами, верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю». Через двадцать глав губка эта появляется снова. От начала романа прошло несколько месяцев; «беременная маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усами и улыбкой поднималась также весело и мило. И через две страницы: «княгиня говорила без умолку: короткая верхняя губка с усами то и дело на мгновение слетала вниз, притрогивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестящая зубами и глазами улыбка. «Княгиня сообщает своей золовке, сестре князя Андрея, княжне Марье Болконской, об отъезде мужа на войну. Княжна Марья обращается к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот: «Наверное?» — Лицо княгини изменилось. Она вздохнула. — «Да, наверное, — сказала она. — Ах! Это очень страшно»... — И губка маленькой княгини опустилась. На протяжении полтора ста страниц мы видели уже четыре раза эту верхнюю губку с различными выражениями. Через двести страниц опять: «разговор шел общий и оживленный, благодаря голосу и губке с усами, поднимавшейся над белыми зубами маленькой княгини». Во второй части романа она умирает от родов. Князь Андрей «вошел в комнату жены; она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском личике с губкой, покрытой черными волосиками: «я вас всех люблю и никому дурного не сделала, и что вы со мной сделали?» Это происходит в 1805 году. «Война разгоралась и театр ее приближался к русским границам». Среди описаний войны автор не забывает сообщить, что над могилой маленькой княгини был поставлен мраморный памятник, изображавший ангела, у которого «была немного приподнята верхняя губа, и она придавала лицу его то самое выражение, которое князь Андрей прочел на лице своей мерт-

вой жены: «ах, зачем вы это со мной сделали?» «Прошли годы. Наполеон совершил свои завоевания в Европе. Он уже переступал через границу России. В ватизы Лысых Гор сын покойной княгини «вырос, переменялся, раздумывался, оброс курчавыми, темными волосами, и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал в е р х н ю ю г у б к у хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня».

Благодаря этим повторениям и подчеркиваниям, говорит Мережковский, все одной и той же телесной приметой сначала у живой, потом у мертвой, потом на лице ее надгробного памятника и, наконец, на лице ее сына, «верхняя губка» маленькой княгини врезывается в память нашу, запечатлевается в ней с неизгладимою ясностью, так что мы не можем вспомнить о маленькой княгине, не представляя себе и приподнятой верхней губки с усиками.

Во всех этих примерах повторения и «приставания» замечательно еще и то свойство (о котором уже говорилось выше) подчеркивать исключительно телесные признаки описываемых героев.

Чем объяснить генез этой склонности у Толстого мы уже отчасти дали выше объяснение—склонностью обостренного внимания эпилептоида к физиологическому, телесному: боязнь потерять реальный мир—он хватается прежде всего за реально-телесное. Но и помимо этой склонности имеется еще и другая оптическая особенность эпилептоидов.

Клиницистам хорошо известен симптом м и к р о о п с и и истеричных и аффект-эпилептоидов, т. е. патологическая склонность видеть предметы в уменьшенных размерах (подобно тому, как человек с нормальным зрением, наблюдая предметы сквозь двояковогнутые оптические стекла, видит предметы сильно уменьшенными и в то же время сильно обостренными). У эпилептоидов имеется обратный симптом м е г а л о о п с и и, т. е. склонность (во время переживания психических эквивалентов) видеть предметы сильно увеличенными и извращенными, как в кривом зеркале. Эта мегалоопсия может быть и частичная, т. е. увеличение предметов в ширину или в длину. Как пример такой мегалоопсии в ширину у Толстого мы имеем следующее место из «Войны и мира»:

«Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и к р у г л о г о. Когда на другой день на рассвете Пьер увидел своего соседа, первое впечатление чего то к р у г л о г о подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была к р у г л а я, голова была совершенно к р у г л а я, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил как бы всегда собираясь обнять что то, были к р у г л ы е; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были к р у г л ы е. Пьеру чувствовалось что-то к р у г л о е даже в запахе этого человека.

И так, Пьеру все части тела казались подчеркнута - к р у г л ы м и. Надо здесь еще к этому добавить, что Пьер в то время (когда это описывается) находился в сумеречном состоянии и в состоянии авто-

матизма. Это состояние вызвано у него впечатлением расстрела пленных французами и ожиданием, что вот, вот и его расстреляют. Толстой, как обычно, в эти исключительные минуты «погружает» своего героя в ненормальное сумеречное состояние — с последующими за ним экстазами. И вот, когда Пьер, очнувшись несколько и придя в экстаз: описываемый пленный солдат Платон Каратаев показался ему необычайно «добрым» (как всегда в этих случаях экстаза у Толстого все «добрые» и «хорошие»; напомним также, что все были добрые в состоянии экстаза Левина, когда он присутствует на заседании в тот день, когда он получил согласие Кити на брак) и к р у г л ы м. Несомненно, он в этом ненормальном состоянии переживал приступ мегалоопсии и Платон Каратаев неестественно «закруглился» у него в глазах настолько, что даже запах от него был круглый. Повидимому, оптические впечатления такого же приступа мегалоопсии, но с обратным извращением в длину, используется Толстым в следующем отрывке «Войны и мира» (цитируем Мережковского):

«Так, во время народного бунта в опустевшей Москве, пред вступлением в нее Наполеона, когда граф Ростопчин, желая утолить животную ярость толпы, указывает на политического преступника Верещагина, случайно подвернувшегося под руку и совершенно невинного, как на шпиона и «мерзавца», от которого, будто бы, «Москва погибла» — тонкая, длинная шея и вообще тонкость, слабость, хрупкость во всем теле выражают беззащитность жертвы перед грубою, зверскою силою толпы.

— «Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из-за угла дома выходявшего между двух драгун молодого человека с длинною, тонкою шеей»... У него были «нечищенные, стоптанные, тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы». — «Поставьте его сюда!» — сказал Ростопчин, указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Молодой человек... тяжело переступая на указываемую ступеньку и вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки... «Ребята! — сказал Ростопчин металлически звонким голосом, — этот человек — Верещагин, тот самый мерзавец, от которого погибла Москва». Верещагин подымает лицо и старается поймать взор Ростопчина. Но тот смотрит на него. «На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напряжилась и посинела жила за ухом. — Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг друга... «Бей его!.. Пускай погибает изменник и не срамит имя русского! — закричал Ростопчин»... — «Граф! — проговорил среди опять наступившей тишины робкий и, вместе с тем, театральный голос Верещагина. Граф, один бог над нами»... «И опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее. — Один из солдат ударил его тупым палашем по голове... Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося, ревущего народа». После преступления те же люди, которые совершили его — «с болезненно-жалостным выражением глядели на мертвое

тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом, и с разрубленной длинною, тонкою шеей).

Ни слова о внутреннем, душевном состоянии жертвы, но на пяти страницах восемь раз повторено слово *тонкий* в разнообразных сочетаниях — тонкая шея, тонкие ноги, тонкие сапоги, тонкие руки — и этот внешний признак вполне изображает внутреннее состояние Верещагина, его отношение к толпе. Под влиянием оптического впечатления микроопсии описывается и повторяется выражение: «*маленькая белая (или «пухляя») ручка*» в следующем отрывке:

Во время свидания императоров перед соединенными войсками, когда русскому солдату Наполеон дает орден Почетного Легиона, он «снимает перчатку с *белой, маленькой руки* и, разорвав ее, бросает». Через несколько строк: «Наполеон отводит назад свою *маленькую пухлую ручку*». Николаю Ростову вспоминается «самодовольный Бонапарте со *своею белою ручкою*». И в следующем томе, при разговоре с русским дипломатом Балашевым, Наполеон делает энергически-вопросительный жест «своею *маленькою, белою и пухлою ручкою*».

У Сперанского тоже «белые, пухлые руки», при описании которых этим излюбленным приемом повторений и подчеркиваний Л. Толстой, кажется, несколько злоупотребляет: «князь Андрей наблюдал все движения Сперанского, недавно ничтожного семинариста и теперь в *руках своих — этих белых, пухлых руках* — имевшего судьбу России, как подумал Болконский». — «Ни у кого князь Андрей не видал такой нежной белизны лица и особенно *рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых*. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале». Немного спустя, он опять «невольно смотрит на *белую, нежную руку Сперанского, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть*. Зеркальный взгляд и нежная рука эта почему то раздражали Андрея». Казалось бы, довольно: как бы ни был читатель беспамятен, никогда не забудет он, что у Сперанского *белые, пухлые руки*. Но художнику мало: через несколько сцен с неутомимым упорством повторяется та же подробность: «Сперанский подал князю Андрею *свою белую и нежную руку*». И сейчас опять: «Сперанский приласкал дочь *своею белою рукою*». «В конце-концов, говорит Мережковский об этих повторениях, эта белая рука начинает преследовать, как навождение: словно отделяется от остального тела — так же, как верхняя губка маленькой княгини — сама по себе действует и живет *своею особою, странною, почти сверхестественною жизнью, подобно фантастическому лицу, в роде «Носа» Гоголя*».

В глазах писателя и критика Мережковского — это чрезмерное подчеркивание и повторение одного и того же телесного признака кажется прямо фантастическим. Реалисту Толстому такая фантастика совершенно не вяжется: ему чужда всякая неестественность, всякая надуманность или неискренность. В этом отношении он был фанатик с крайней последовательностью. Если же все таки эту фантастичность мы находим, то для него самого, в его

эпилептоидно-реалистических глазах все эти формы повторения не были неестественным явлением, а чрезвычайно важным и ценным, он придавал им большое значение, так как они в его жизни имели большое значение. Понятно, что не эпилептоидному читателю это кажется непонятным и фантастическим точно так же, как мы не можем постигнуть, как можно убить свою любимую мать в сумеречном состоянии

д) Эпилептоидная склонность к „пророческому“ и наставническому тону нравовучителя-проповедника

Другая характерная черта в стиле Толстого это — склонность к проповедническому или пророческому тону, что вызывает, в свою очередь, склонности эпилептоидного «умствования», философствования, обобщения.

Сам Толстой дал им название «генерализация». Увлекался (пишет Толстой) сначала в генерализации, потом в мелочности, теперь ежели не нашел середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и желаю найти ее» (Дневник, стр. 42, Лев Толстой).

Эта «генерализация» и есть склонность «умствования» эпилептоидных типов, склонность к философским абстракциям, изрекать поучения — склонность быть пророком, изрекающим неизблемые истины для поучения страдающего человечества. Все эти склонности надвигаются уже известные у людей, страдавших «Morbus Sacer» — пророков. Конечно, здесь у Толстого и в предомлении его эпохи, среды — эти «пророчески мудрые» и поучающие проповеди и обобщения принимают форму толстовской «генерализации»; но эпилептоидная суть остается здесь та же самая.

Критик Толстого Эйхенбаум *) отмечает эту особенность таким образом:

«В повествовательной прозе основной тон дается рассказчиком, который и образует собой фокусную точку зрения. Толстой всегда — вне своих действующих лиц, поэтому ему нужен медиум, на восприятии которого строится описание. Эта необходимая ему форма создается постепенно. Собственный его тон имеет всегда тенденцию развиваться вне описываемых сцен, парить над ними в виде генерализации, поучений, почти проповедей. Проповеди эти часто принимают характерную декламационную форму, с типичными риторическими приемами».

Как типичный пример Эйхенбаум приводит начало второго Севастопольского очерка («Севастополь в мае 1855 года»):

«Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи, и из траншей в бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же

*) Б. Эйхенбаум, «Молодой Толстой». 1922.

о невольным трепетом и страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя... все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов... и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей с еще более разнородными желаниями к этому роковому месту. А вопрос, не решенный дипломатами, все еще не решается порохом и кровью». (курсив Эйхенбаума).

«Типичная речь оратора (отмечает справедливо критик Эйхенбаум) или проповедника с нарастающей интонацией, с эмоциональными повторениями, с фразами широкого декламационного стиля, рассчитанными на большую толпу слушателей.

Тон этот проходит через всю вещь, возвращаясь в ударных местах очерка. Так — глава XIV, отделяющая первый день от второго, целиком написана в том же стиле, с теми же приемами.

«С о т н и свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких, надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни мертвые в Севастополе: с о т н и людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта,—а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледили мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему оживленному миру, выплывало могучее, прекрасное светило».

«Схема обеих «проповедей» совершенно одинакова». Тысячи... тысячи... а все те же.. все так же... и все с тем же... сотни... сотни... а все так же, как и в прежние дни... и все так же, как и в прежние дни»...

«Для ораторских приемов еще чрезвычайно характерны такие обобщающие антитезы, как тысячи... успели оскорбиться, тысячи — успели удовлетвориться или «сотни тел, полных разнообразных, высоких и мелких, надежд и желаний... сотни людей с проклятиями и молитвами». Так же написано заключение, которое вместе с приведенными кусками, образует, действительно, целую проповедь».

«Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, ц в е т у щ а я д о л и н а наполнена мертвыми телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди христиане, исповедывающие один великий закон любви и самоотвержения...» (курсив Эйхенбаума).

е) Отсутствие типов в творчестве Толстого

Давно уже критика обратила внимание на то, что Толстой не дает типов в своих произведениях, нет обобщающих образов. На это обратили внимание Чернышевский, Дистерло, Горбачев, Овсяннико-Куликовский, в последнее время Эйхенбаум.

«Не только сюжетология,—говорит Эйхенбаум—но и типология Толстого не интересует. Его фигуры крайне индивидуальны, это в художественном смысле означает, что они, в сущности, не личности, а только носители отдельных человеческих качеств, черт, большею частью парадоксально скомбинированных. Личности эти текучи, границы между ними очерчены нерезко, но резко выступают конкретные детали». «...Личности, как психологическое целое в творчестве Толстого, в сущности, распадаются (Эйхенбаум—Молодой Толстой», стр. 42).

«Психологический анализ,—говорит Чернышевский—может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувства с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более самый психический процесс (курсив наш), его формы, его законы—диалектика души, чтоб выразиться определенительным термином (Чернышевский «Детство и Отрочество» и Военные рассказы соч. Л. Н. Толстого, «Современник» 1856 № 12).

«У Толстого совсем нет ни описаний, ни деталей в этих описаниях, которые бы имели назначение просто дать живую картину предмета или черты быта, как видим мы это нередко у Гоголя или Гончарова. Обыкновенно Толстой замечает и изображает лишь то, на что могло и должно было обратить внимание то или другое действующее лицо его рассказа, в зависимости от своего характера, положения или настроения. От этого и природа, и все люди, и предметы рисуются у него с непрерывно изменяющимися чертами или все сновыми и новыми подробностями, образуя одно целое с духовной жизнью человека, как оно всегда и бывает в действительности. От этого человек и его психический мир занимают в творчестве Толстого первостепенное место, а внешний быт и природа подчиненное (разрядка наша) (Грузинский А., Л. Н. Толстой, литературные очерки, 1918 г.).

Итак по мнению критики, у Толстого нет типов, описания природы и быта занимают подчиненное место, зато в центре внимания психический процесс и анализ этого процесса, вернее, самоанализ, как мы увидим после. Здесь мы видим ту характерную черту эпилептоидной психики — тяготение к «духу», к психическому анализу. Тяготение это закономерно вытекает из того же тяготения к «телу». Борьба между «телом» и «духом» есть борьба эпилептоидной психики. Эта борьба есть специфическая форма локализации больного органа: отсюда эпилептоид или занят анализом своего тела, своей физиологией или всей психологией. Обостренно, гипер-

трофированно он чувствует и то, и другое (или временами одно больше другого). Вот почему Толстой мастер описания тела и мастер анализа психического процесса.

Эпилептоида Достоевского также интересует анализ психических переживаний больше, чем что-либо другое. Природа, быт у них отходят на задний план — это черта эпилептоидов. Однако, разница между ними определяется поскольку тот или иной компонент эпилептоидный или истерический больше доминирует у данного эпилептоида. У Толстого доминирует истерический компонент так же сильно (если не более), как и эпилептический. Эта особенность придает новые своеобразные черты его творчеству».

Как человек с истерической способностью «играть, как на сцене» и способностью перевоплотить свою личность в другую, Толстой становится как бы на место описываемой им личности и изображает его переживание, его точку зрения, его анализ, а на самом деле — свои личные, Толстовские (истерические или эпилептоидные) переживания. Для этой цели он берет своего героя как медиум, а этот медиум смотрит, переживает, воспринимает, анализирует так, как переживает сам Толстой в своем самоанализе. Отсюда и понятно, что такой медиумистический или истерический способ изображения не дает конкретных типов, а только воплощение истерических, а чаще эпилептоидных комплексов. Все главные его герои, а так же Достоевского насыщены истерическими и эпилептоидными комплексами в большей или меньшей степени, поэтому они все думают, чувствуют, действуют, «погружаются» в мир подсознательных комплексов, страдают самоанализом, переживают состояние припадка, сумеречного состояния, страха смерти, переживают различные кризисы и проч., и проч. Замечательно, что даже физиологические признаки аффективного или эмоционального волнения того или другого героя описываются по одному и тому же симптомокомплексу. Так, например, при волнении у большинства героев «губы трясутся» (или челюсти), как будто в его среде не было таких конституциональных типов, у которых губы или челюсти не трясутся при волнениях. Или же, часто, он берет истерический или эпилептоидный симптом: «что то поднимается в груди все выше и выше», «поднимается к горлу», «подступило к горлу» и проч. проч. симптомы. Приведем несколько таких примеров:

«Как будто, поднимаясь все выше и выше, что то вдруг стало давить меня в грудь и захватывать дыхание, но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы и мне стало легче»...

«Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица, и как совершенно невольно затряслись мои губы».

«Она (Анна) остановилась и зарыдала. Он (Вронский) почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать».

«Но когда он (Облонский) увидал ее измученное лицо, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами».

«Впрочем, не извольте беспокоиться,—прибавил он, заметив, что граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинающегося гнева».

«Так и есть»—подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности».

«Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг то суживаясь, то расширяясь, сжимал ему голову».

«Корни волос становились чувствительными, мороз пробежал вверх по спине, что то все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и небо, и слезы незаметно мочили ему щеки».

Таковыми истерическими или эпилептоидными симптомами он наделяет и Облонского, и Вронского, и Анну Каренину, Делесова—людей в сущности совершенно различных конституций.

г) Влияние эпилептоидных „провалов“ на стиль Толстого

Влияние эпилептоидных провалов психики на творчестве Толстого вообще сказывается в самых различных направлениях. А именно:

1. Влияние это сказалось на формирование развития кривой творчества Толстого. Выше мы указывали на это обстоятельство во 2-й главе 2-й части этой работы.

2. Влияние на характер содержания творческих комплексов. Мы также отметили это влияние в 3-й главе 2-й части этой работы. Мы уже там указывали, что Толстой пользовался введением этих «провалов», как формами «погружения» его героев в исключительных моментах жизни (большей частью, как комплекс переживаний перед смертью или в моментах опасности смерти).

3. Влияние это также сказалось в виде мистических переживаний его героев и в особенности как его личные переживания в упадочные периоды в форме «богоискательства» и «толстовства».

4. И, наконец, надо отметить влияние на его стиль и технику письма.

Из различных форм влияния на толстовский характер письма (кроме уже вышеуказанных) укажем здесь еще на следующие моменты, на которые в свое время обращали внимание Флобер, Мережковский и другие критики.

Приведем здесь несколько примеров, приводимых Мережковским и в его освещении. Для нас тем более ценны эти примеры, что они приводятся не психопатологом, а литератором-критиком.

«...Но вот, что во всяком случае любопытно, сразу, с первого же взгляда,—заметил Флобер, поразительные неровности, «ужасные падения», соскальзывания, провалы в творчестве Л. Толстого. И, в самом деле, невозможно не почувствовать, даже при поверхностном чтении «Войны и мира» и «Анны Карениной», двух складов речи, двух языков, двух течений, которые стремятся рядом, соприкасаясь, но не смешиваясь, как масло с водою.

«Так, где изображает он действительность, в особенности живоотно-стихийного, «душевного» человека, язык отличается такую простотой, силой и точностью, какиx русский язык, может быть, никогда

и ни у кого не достигал. И если он как будто иногда слишком старается, подчеркивает, упорствует, «пристает к читателю», если, по сравнению с окрыленную легкостью пушкинской прозы, едва касающейся предмета, словно парящей над ним, язык Л. Толстого кажется тяжелым, то эта тяжесть и упорство титана, который громоздит глыбы на глыбы. А рядом с этими циклопическими громадами, какими изумительными кажутся заостренные и, однако, твердые, как алмазные иглы, тонкости чувственных наблюдений!

«Но только что начинается отвлеченная психология не «душевного», а духовного человека, размышления, «философствования», по выражению Флобера, «умствования», по выражению самого Л. Толстого — только что дело доходит до нравственных переворотов Бездухова, Нехлюдова, Позднышева, Левина — происходит нечто странное, *il dégringole affreusement* — «он ужасно падает»; язык его как будто сразу истощается; иссякает, изнемогает, бледнеет, обессиливает, хочет и не может, судорожно цепляется за изображаемый предмет и все таки упускает его, не схватив, как руки человека разбитого параличом.

Из множества примеров приведу лишь несколько наудачу.

«Какое же может быть заблуждение, — говорит Пьер, — в то м, что я желал... сделать добро. И я это сделал хоть плохо, хоть немного, но сделал кое-что для этого, и вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали».

«Об отношении к болезни Наташи отца ее графа Ростова и сестры Соии: «как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ежели она не поправится, то он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу... Что бы делала Соня, ежели бы у нее не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи для того, чтобы не пропустить часы, в которые нужно давать пилюли... И даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение».

«О лицемерной заботливости жены Ивана Ильича: «она все над ним делала только для себя то, что она точно делала для себя, как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно». Вот настоящая загадка. Какое напряжение сообразительности необходимо, чтобы распутать этот грамматический клубок, в котором заключена самая простая мысль!

«Другая загадка в том же роде, но еще сложнее и запутаннее: «досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, — что с братом, ему приходилось заботиться о ней вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату, — Левин ввел жену в отведенный им номер».

«Это беспомощное топтание все на одном и том же месте, эти ненужные повторения все одних и тех же слов — «для того, чтобы»,

«вместо того, чтобы», «в том, что то, что» — напоминают шепелявое бормотание болтливой и косноязычной старца Аким. В однообразно заплетающихся и спотыкающихся предложениях — тяжесть бреда. Кажется, что не тот великий художник, который только что с такою потрясающею силою, точностью и простотою речи изображал войну, народные движения, детские игры, охоту, болезни, роды, смерть, — заговорил другим языком, а что это вообще совсем другой человек, иногда странно похожий на Л. Толстого, как двойники бывают похожи, но по существу ему противоположный, его уничтожающий, — что это смиренный старец Аким заговорил после дяди Ерошки «великого язычника».

Меткие указания Мережковского на влияние психических провалов на язык и стиль Толстого для нас особенно ценны, что они исходят не от психопатолога. Мы можем на эти указания поставить только точку на i. Провалы эти есть закономерное следствие эпилептоидной психики точно так же, как все другое, что указывалось нами выше в предыдущих главах.

Поставивши эту точку на i, нам уже не покажется «странным», как это казалось Флоберу, что «он, Толстой, ужасно падает», что «язык его как будто сразу истощается, иссякает, изнемогает, бледнеет, обессиливает, хочет сказать и не может, судорожно цепляется за изображаемый предмет и все таки упускает его, не схватив, как руки человека разбитого параличем. Ясно, — добавим мы к этому, что, когда человек «падает» в момент эпилептоидного припадка, «падает» и его психическая продукция, меняется речь и появляются все эти признаки припадка, которые здесь приводятся устами критика. Мы можем только добавить к ним: не «как будто», а на самом деле.

Клиницистам, наблюдающим эпилептоидных и эпилептиков, хорошо знакома эта характерная речь с «однообразно заплетающимися и спотыкающимися» словами с «беспомощным топтанием все на одном и том же месте», с «ненужными повторениями все одних и тех же слов» и проч. и проч., так метко подмеченные Мережковским симптомы эпилептоидной речи.

Нет никаких сомнений в том, что эпилептоидные провалы психики имели колоссальное влияние также на речь и стиль письма Толстого.

5. Симптоматология творческих приступов у Толстого (Эпилептоидный характер переживания творческих приступов)

Когда мы говорим о симптоматологии творческих приступов какой либо творящей личности, то мы должны с эвропатологической точки зрения иметь в виду двоякого рода симптомы.

1. Симптомы определяющие содержание творческих комплексов.

2. Симптомы механизма выявления творческих комплексов. Вернее сказать: симптомы сопровождающие творческий приступ с фор-

мальной стороны и этим самым свидетельствующие о наличии того или другого психического механизма.

Симптомы эти здесь нас интересуют в отношении эпилептоидной личности Л. Толстого.

Каковы эти симптомы творческих приступов в отношении сдержания творческих комплексов — мы уже дали ответ в предыдущих главах. Из данных, приведенных выше, мы видели, что творческие комплексы у эпилептоида проникнуты теми специфическими переживаниями, которыми проникнута психика эпилептоида. А именно: комплексами постоянной борьбы за ускользающую реальность. Возможность появления припадка и ее эквивалентов создает крайнюю степень чувства неустойчивости, с одной стороны, и крайнюю степень компенсации этой неустойчивости, с другой стороны. Крайняя степень компенсации выражается в форме агрессивных тенденций творческих сил организма.

1-е обстоятельство создает все виды и формы комплексов отрицательного характера. А именно, постоянную боязнь потерять реальную установку жизни, страх потерять сознание, страх за реальную ценность своих интеллектуальных функций. «Остановка жизни», сумеречные состояния, полубессознательные и проч. диссоциированные состояния беспрерывно тревожат эпилептоида: создает тяжелый невроз ожидания, чувство неуверенности и малоценности своей личности со всеми последствиями такого чувства; создаются комплексы самоунижения, постоянного раскаяния, самобичевание своих настоящих, а больше мнимых, пороков, чувствительность ко всему тому, что может каким-бы то ни было образом задеть чувство недостаточности.

Как компенсация комплексов чувства недостаточности создается в подсознательной психике эпилептоида ряд комплексов совершенно противоположного характера. Но эти компенсаторные комплексы носят характер чрезмерной компенсации (гиперкомпенсации). Чувство своей недостаточности порождает комплекс протеста против своей же недостаточности. Но все это переносится на других. Пороки и недостатки, ему свойственные, беспощадно бичуются в других, создается аффективно-агрессивная установка. Аффекты вызывают прилив физической и психической энергии. Создается чувство переоценки своей личности, своего «я»; эгоцентризм. Чувство прилива сил компенсирует его недостаточность, вызывает в нем агрессивную тенденцию бичевать, протестовать «против всякого зла», против всякой несправедливости. Этот комплекс протеста (в сущности, есть протест против себя же, против своего чувства недостаточности) всецело, как сказано выше, переносится на внешний мир. Протест тем более усугубляется на внешний мир, чем больше у него чувства превосходства и переоценки своего «я». Комплекс протеста есть крик «обиженного судьбою». Чувствительность «к несправедливости», к всему «злу» есть у него тот-же протест.

Смена этих 2-х противоположных и противоречивых групп комплексов создает постоянную душевную борьбу эпилептоида с самим собою, он постоянно в атмосфере личных конфликтов. Создаются вы-

шеупомянутые полярные реакции, делают поведение личности противоречивым, парадоксальным, беспокойно-агрессивным.

Всеми этими комплексами проникнуты все с о д е р ж а н и е творчества Толстого от дневников до последнего произведения. Полярно организованные комплексы эпилептоида, отраженные в его произведениях творчества есть один из характернейших симптомов творчества эпилептоидов вообще и в частности здесь—Льва Толстого.

Что касается симптомов механизма выявления творческих комплексов, то отчасти уже также была речь выше.

Эвропозитивные приступы, как мы видели выше, совпадают с теми периодами жизни, когда в психической установке Толстого доминирует эпилептоидное возбуждение. В периоды, когда это возбуждение принимает для творчества декомпенсированный характер (или в сторону чрезмерности возбуждения, или в сторону полного упадка возбуждения), творчество его или падает совершенно или получает уклон в сторону мистики.

Основным симптомом механизма творчества у Толстого является, следовательно, эпилептоидное возбуждение в хорошо компенсированном состоянии для творческого приступа.

О том, что эпилептоидное возбуждение стимулировало разрядку его творческих комплексов, свидетельствует целый ряд данных, исходящих от самого Толстого и его близких.

Так, из письма Т. А. Кузьминской к Н. Н. Апостолову, мы узнаем следующее: «...Я писала (под диктовку) Л. Толстого: «нынче поутру, около часа, диктовал Тане, но не хорошо, без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет (разрядка наша Г. С.).

«...Левочка все читает и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновения нет...».

Мы уже указывали на то, что под «вдохновением» понимается в устах эпилептоидного типа (см. вып. 1, том II этого «архива»). «Вдохновение» это просто возбуждение. Из этого мы видим, что без «волнения» (или, что то же, без «вдохновения») у него «писательское дело» не идет». Это не значит, конечно, что в то время, когда не было возбуждения, он не работал. Толстой, как известно, заставлял себя работать и вне возбуждения, ибо при всяком творчестве есть периоды черновой или подготовительной и всякой другой работы.

Здесь речь идет о тех творческих периодах, когда он создавал (с большим под'емом) легко и с громадной продуктивностью. В это время его творчество сопровождалось не только возбуждением, но и необычайной гипербулией, свойственной также эпилептоидам в их периоды возбуждения. Это дает возможность эпилептоиду проявить фанатическое упорство в достижении намеченной цели. Так, например, в отношении созидания «Войны и мира» Софья Андреевна говорит:

«...ни одно свое произведение Лев Николаевич не писал с такой любовью, с таким упорным постоянством и волнением (Разрядка наша Г.С.), как роман «Война и мир», это был расцвет его творческой силы...».

Ценное признание о позитивной роли эпилептоидного возбуждения и аффекта на его творческие силы дает Толстой в рассказе «Люцерн».

Описывая то место, когда он угощал странствующего музыканта шампанским и когда вошедший швейцар сел бесцеремонно у их стола, его возбуждение стало нарастать. Толстой, между прочим, по этому поводу замечает: «Я совсем озлился тою кипящею злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей....»

Это замечательное признание говорит нам многое.

Во-первых, что если он разряжается возбуждением и аффектом, то это действует на него успокоительно. Во-вторых, что для нас ценнее всего, что возбуждение дает ему необходимую гибкость, энергию и силу всех способностей. Это лучше всего иллюстрирует нам психомеханизм его творческих способностей. Вот почему он любит это возбуждение и даже искусственно возбуждает в себе аффект.

Эпилептоидное возбуждение и эпилептоидные экстазы, несомненно, давали Толстому ряд особенностей в механизме его творчества.

Так сопровождающаяся вместе с экстазом эпилептоидная гипермнезия давала ему целый ряд преимуществ.

Прежде всего в отношении необычайной быстроты созидания своих произведений.

Так, например, летом 1886 года, когда Л. Толстому пришлось лежать длительно в постели, вследствие рожистого воспаления (после ушиба ноги). Он лежа диктует драму «Власть тьмы». С. А. Толстая отмечает, что эта драма создавалась довольно быстро (стр. 253, Апостолов, «Живой Толстой», Москва, 1928 г.). Повидимому, здесь также сыграло роль возбуждение при высокой ¹⁰ рожистого воспаления.

Софья Андреевна однажды отмечает:

... я помню, говорил он: как приятно писать для сцены. С л о в а на к р ы л ь я х л е т я т, . . (Разрядка наша Г.С.). Этими словами Л. Толстой прекрасно охарактеризовал свою гипермнезию в состоянии возбуждения.

Клиницистам хорошо известны те состояния, когда «слова на крыльях летят». Количественный наплыв идей маниакального состояния свойственен также и при эпилептоидном возбуждении или экстазе.

Отличительной чертой при наплыве идей эпилептоидов является характерная для них гипермнезия, дающая в эти моменты обострение интеллектуальных восприятий и способностей.

Здесь мы имеем не только простые количественные симптомы, но и качественные.

При маниакальных состояниях, количественный наплыв идей, образов следует в порядке кинематографической смены образов, относящихся к р е а л ь н о й т е к у щ е й ж и з н и (быта, деятель-

ности) и конкретных вещей. У эпилептоида этот наплыв образов, если касается конкретных вещей и реальных сторон жизни, носит панорамный характер. Картины и образы появляются одновременно, укладываются один около другого, при чем конкретность и реальность переживания этих образов перемешиваются с абстрактно-символическим мышлением, где принимают характер сгущения, что, в свою очередь, делает их склонными к метафизическим концепциям своих переживаний.

У Толстого мы видим это в «Отрочестве» (стр. 238, гл. XXVП), где он говорит об этом таким образом:

«....В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их, и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я люблю эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее».

Из этого отрывка мы видим характер его гипермнестических переживаний. Процесс обострения психических переживаний идет от конкретного к абстрактно-метафизическому, где он доходит до такого состояния, что «полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое»...т. е. до моментов, где реальное мышление теряет свою конкретную форму и переходит в абстрактно-архаическое, где одни символы понятий замещаются другими (в отличие от маниакальных гипермнезий, где конкретная форма мышления сохраняет до конца свою реальность, несмотря на то, что «вихрь идей» не дает возможности угнаться за ними).

В этих эпилептоидных гипермнезиях теряется чувство времени. Пространственные восприятия не соотнобразуются с реальными восприятиями или переплетаются с ними.

Характерна также внезапность появления комплексов, поражающих эпилептоида, вследствие чего у эпилептоида при описании этого переживания прорывается характерное выражение: «вдруг». «Вдруг постигаешь»... говорит Толстой в вышеуказанном отрывке.

Эти гипермнезии дают творчеству эпилептоида много качественных преимуществ, которые отмечаются и подчеркиваются самим Толстым.

Описывая эпилептоидный экстаз Пьера перед женитьбой, когда он переживал «радостное», «неожиданное сумашествие», Толстой говорит (в лице Пьера): «Может быть я и казался тогда странным и смешным, но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда-либо и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что ...я был счастлив». Этим Толстой хочет сказать: хотя переживая «радостное сумашествие», (сиречь, экстаз эпилептоида), я казался ненормальным для других, но умственные мои способности не только не страдали (он «понимал все, что стоит понимать в жизни»), наоборот, пере-

живая гипермнезия, в этот момент он «был умнее и проницательнее, чем когда либо».

Этим он ясно показал, какое колоссальное значение играли эти приступы «безумия» или радостного «сумасшествия» для его творчества. Он нам поясняет: «Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия». Почему? А потому что проницательность гипермнестических переживаний для него имела огромное значение в творчестве, ибо... «Все суждения, которые он, Пьер, составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. «Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, во внутренних сомнениях и противоречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен...» (разрядка наша).

Этим нам Толстой сам подтверждает, что он руководился гипермнезиями «счастливого безумия» в случаях надобности.

Об этом он также говорит в «Анне Карениной», описывая счастливый экстаз Левина в день согласия Кити на брак с ним, и, переживая в этом экстазе такого рода гипермнестические переживания во время заседания в тот-же вечер, Толстой между прочим подчеркивает:

«Замечательно было для Левина то, что они все (т. е. все присутствовавшие ему незнакомые члены заседания (Г. С.) для него нынче были видны насквозь и по маленьким прежде незаметным признакам он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые...»

Тут перед нами Толстой вскрывает всю, так сказать, механику толстовского творчества: психомеханизм его гипермнестических переживаний. Пользуясь свойством его гипермнезий «по маленьким, прежде незаметным признакам, узнавать душу каждого» и способностью благодаря этому «видеть всех насквозь» Толстой мог создавать с тонким психологическим проникновением своих героев. Этим же объясняется его необычайное свойство по внешним выразительным движениям человека тонко и проникновенно характеризовать душевные переживания человека и животного. Об этом его свойстве Толстой еще в юности в себе отмечал (в главе XXVI «Юности») ... склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того времени... (Разрядка наша).

Нет сомнения в том, что эта способность результат его гипермнестических переживаний и здесь, можно сказать, кроются его необычайная сила и способность при вскрытии «физиологического» и «психического» нутра его героев.

Резюмируя все, что можно отметить в отношении симптоматики творческих приступов Л. Толстого, мы можем сказать следующее:

1. Симптоматология содержания творческих комплексов есть симптоматология содержания эпилептоидных переживаний. Комплексы чувства недостаточности эпилептоидной личности и их противоположность комплекс чувства сверхценности (как компен-

сация недостаточности). Находясь во взаимном противоречии эти комплексы постоянно антагонизируют между собой в силу выше упомянутой полярности. Создается комплекс постоянной и непрерывной борьбы 2 - х антиподов в одной и той же личности: отсюда постоянная борьба с самим собой и с внешним миром.

Комплекс этой борьбы—основной стержень, основное содержание творческих комплексов. Сознательно или бессознательно все его герои более или менее воплощают эти комплексы борьбы со всеми последствиями этой борьбы (часто в представлении эпилептоида с исходом в припадок, смерть, мистику и проч. упадочный исход этой борьбы как это мы видим у Толстого).

Такова основная симптоматика содержания творческих комплексов Толстого. Такова же симптоматика и других эпилептоидов (Достоевский, Флобер, Чайковский и проч.) Эпилептоидная структура творческих комплексов везде у них преломляется сквозь резкие различия среды, эпохи, класса, с определенной закономерностью биологического закона.

Можно определенно сказать: там, где есть такое строение творческих комплексов у данной личности, можно определенно ставить диагноз: эпилептоидное творчество (без того, чтобы знать историю болезни данной личности).

2. Механизм выявления творческих комплексов отличается следующими симптомами:

Эпилептоидное возбуждение (в хорошей компенсации) есть основной симптом эвропозитивного приступа эпилептоида. Он же составляет основной рычаг динамики при выявлении творческих комплексов. Сопровождающиеся при этих случаях эмоциональные симптомы: эпилептоидные экстазы, «вдохновения», чувство «высшего счастья» дополняют этот основной симптом и дают ему специфический колорит. Этот же симптом возбуждения сопровождается эпилептоидной гипербулией.

Со стороны симптоматики интеллектуальной сферы: эпилептоидная гипермнезия, дающая характерное обострение интеллектуальных процессов у Толстого. Эта гипермнезия особенно остро направлена на восприятия выразительных движений, и не менее в сторону психического анализа.

Вследствие специфической тенденции эпилептоидной гипермнезии развиваться в сторону абстрактно - метафизическую, симптом перескакивания от конкретного мышления в абстрактно-метафизическое, характерно для толстовского механизма творчества (в особенности в периоды недостаточной компенсации, тогда он доходит до мистики и до крайней упадочности).

Все эти основные формальные симптомы творческого механизма выявления комплексов закономерны также для всех творческих эпилептоидов.

Обе группы симптомов, само собой разумеется, тесно переплетаются между собой и составляют единый симптомокомплекс эпилептоидных приступов творчества.

6. Толстой и Достоевский

Раз мы пришли к заключению, что Толстой принадлежит к личностям, у которых поведение окрашивается эпилептоидными чертами характера, то, естественно, напрашивается сравнение Толстого с Достоевским. Ведь, как известно, Достоевский был эпилептик довольно выраженного типа. Сравнить их мы должны в тройном отношении.

Во-первых. Клиническая картина эпилепсии того и другого, что общего и чего у них нет общего.

Во-вторых. Есть ли сходство в характерах, в чем оно проявляется и в чем разнится, и, наконец,

В-третьих. Есть ли что общего в их творчестве и если есть, то в чем именно. Также отличительные черты в творчестве того и другого.

Прежде всего, в отношении клинической картины Достоевского определяет совершенно правильно Розенталь (см. литерат. как аффект-эпилепсию. Наш диагноз в отношении Толстого такой-же. Однако, несмотря на одинаковые диагнозы у них имеется огромная разница в клинической картине болезни. Напомним, что аффект-эпилепсия, согласно учению Крепелина и Bratz'a есть «запутанный клубок истерии и эпилепсии», как говорит Крепелин, т. е., что в синдроме аффект-эпилепсии компонент истерический переплетается с компонентом эпилептическим; следовательно, такой диагноз не исключается даже и тогда, когда бывают симптомы «истерических реакций». Или наоборот, когда бывают периоды с чисто эпилептическими симптомами. Диагноз, следовательно, аффект-эпилепсии должен ставиться по совокупности тех и других симптомов, течения, также исхода болезни. Конечно, если взять какой нибудь период из истории болезни, где преобладают истерические компоненты этой болезни и если рассматривать их изолированно, то нет ничего проще ставить шаблонный диагноз: «истерия» «истерическая реакция». Но если мы учтем все моменты более углубленно, то мы такой упрощенный диагноз ставить не будем.

В учении об аффект-эпилепсии мы должны еще учесть и то обстоятельство, что формы этих заболеваний могут варьировать как и все клинические формы, то с преобладанием истерического компонента, то с преобладанием эпилептической симптоматики, и, в зависимости от этого преобладания, легч еподдаемся соблазну упрощенной диагностики.

В случае Толстого и Достоевского мы имеем 2 таких варианта: нет ничего проще поставить диагноз Достоевскому: эпилепсия. Толстому истерия. И именно потому, что у Достоевского компонент эпилептический (в картине аффект-эпилепсии) доминирует, истерический выражен слабее. У Толстого наоборот: часто доминирует истерический компонент, эпилептический не так резко выражен, как у Достоевского. Отсюда и вытекает разница клинической картины аффект-эпилепсии у того и другого, также разница психической структуры и творчества.

Клинически общим симптомами у того и у другого мы имеем: наличие судорожных припадков, при чем эти припадки в большинстве случаев психогенны и появляются, когда имеется какое нибудь тяжелое переживание. Но в силу вышеупомянутого преобладания компонентов, у Достоевского, повидимому, психогенность утрачивается и припадки приближаются к чисто эпилептическому типу. У Толстого же, повидимому, психогенность не утрачивается, по крайней мере у нас нет данных, где бы мы могли видеть, что были у него припадки вне психогенного момента. Кроме того, у Толстого припадки были реже, что зависело, конечно, от хороших условий жизни Толстого (обесеченность, покой, жизнь в деревне и проч.), и плохих условий жизни и тяжелых переживаний у Достоевского, что, как известно, является ухудшающим фактором болезни при аффект-эпилепсии. Все другие клинические симптомы, как то: сумеречные состояния, обмороки, *petit mal* («остановка жизни») головокружение и все психические эквиваленты — все было присуще и Толстому. Однако, при сравнении с Достоевским все эти симптомы у Толстого получают несколько другую окраску в сравнении с Достоевским. Ему присуще более черты истеричности, например, припадки слезливости, сопровождающиеся *Globus Hystericus*'ом

В личности того и другого мы имеем ярко выраженный эпилептический характер психики. Обоим свойственны аффективность, раздражительность, агрессивность и в то же самое время та своеобразная сенситивность и чувствительность, доходящая до слезливости (у Толстого). Эгоцентрическая проблема своего «Я», проблема сексуальности, доходящая до извращения резко выражено у Достоевского, у Толстого она выражено менее, склонность к самобичеванию, к раскаянию, к самоунижению больше у Толстого; мазохистический компонент сильнее выражен у Толстого, садистический — у Достоевского. Необычайное тщеславие и в то же самое время скромность, доходящая до крайних пределов, присущи им обоим. Вообще, полярность психических реакций столь характерная для аффект-эпилептиков и эпилептоидных у того и другого резко бьет в глаза. Так же альтернативность и извращение полярных реакций мы имеем у обоих, несмотря на резкую разницу; ибо обоим свойственна одна и та же клиническая сущность.

Теперь относительно характера творчества того и другого. Творчество Толстого и Достоевского — это суть эпилептоидные автобиографии в художественных образах. Проблема полярных переживаний и диалектика личных переживаний — вот основная проблема их творчества. Эпилептический разлад между телом и душой есть побудительный мотив, чтоб заниматься проблемой «плоти» и проблемой «духа», при чем у Толстого проблема «тела», может быть, занимает не меньше и «духа». У Достоевского, у которого этот разрыв, вероятно, сильнее переживался (в виду того, что сильнее выражен эпилептический компонент) проблема «духа» более остро привлекала его внимание.

Отдельные комплексы переживаний, антагонизирующие между собой у Толстого и Достоевского, воплощаются диалектически в от-

дельных героях у того и другого. Таким образом, личная борьба комплексов воплощается в личной борьбе героев. Диалектика «души» автора есть диалектика борьбы героев (Дмитрий и Алеша Карамазовы, князь Мышкин, с одной стороны; отец и другие сыновья Карамазовы, с другой стороны.)

То же у Толстого, с той только разницей, что эту диалектику «души» переживает в разное время один и тот же герой в разных лицах (Нехлюдов, Пьер Безухов, Левин, Позднышев и другие). С формальной стороны характерен для них обоих реализм или, вернее, «эпилептоидный реализм». Этот реализм касается проблем психологизма и «физиологичности» человека И у Толстого, и у Достоевского нет пейзажа, нет природы, нет типов, нет сатиры и юмора, но есть эпилептоидная напряженность переживаний душевных окон фликтов. Обоим им свойственна в стиле тенденция к обстоятельности описаний мельчайших деталей, фактов «приставаний» к читателю, черточкам второстепенного значения придается огромное значение. Обоим свойствен поучающий тон проповедников, моралистов-наставников. Оба хотят «переделать», или, «спасти» мир от «зла» и оба хотят быть «пророками» нового «откровения». Оба чувствуют потребность «мессианства». Оба впадают в мистику и метафизику, не смотря на страстное желание быть реальным во что бы то ни стало, до утрировки. Оба резко критикуют современный им строй и в тоже время оба остаются консерваторами и противниками революционного движения. К сожалению, мы не можем останавливаться здесь на более подробном сравнении этих 2-х гигантов русской литературы с нашей точки зрения, ибо это потребовало бы отдельной работы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Г. В. Сегалин. — К патографии Л. Толстого. Кл. Арх. Ген. и Одар. Вып. 1, т. I.
 2. Г. В. Сегалин. — Эвропатология гениальных эпилептиков. Форма и характер эпилепсии у великих людей. Кл. Арх. Ген. и Одар., вып. 3-й, т. III.
 3. Г. В. Сегалин. — Частная эвропатология аффект-эпилептического типа гениальности. Кл. Арх. Ген. и Од., вып. 1-й, т. III.
 4. Г. В. Сегалин. — Симптоматология творческих приступов у гениальных эпилептиков. Кл. Арх. Ген. и Одар., вып. 2-й, т. III.
 5. Г. В. Сегалин. — Общая симптоматология творческих приступов. Кл. Арх. Ген. и Одар., вып. 1-й, т. II.
 6. Г. В. Сегалин. — «Записки сумасшедшего», Л. Толстого, как патографический документ. — Кл. Арх. Ген. и Одар., вып. 1-й, том V.
 7. В. И. Руднев. — «Записки сумасшедшего» Л. Толстого. Кл. Арх. Ген. и Одар., вып. 1-й, т. V.
 8. Н. А. Юрман. — Болезнь Достоевского. Кл. Арх. Ген. и Одар., вып. 1-й, т. IV.
 9. Розенталь. — Страдание и творчество Достоевского. Вопросы изучения личности, № 1, 1919 г.
 10. Б. Эхенбаум. — Молодой Толстой, 1922.
 11. Д. С. Мережковский. — Творчество Л. Толстого и Достоевского
 12. Н. Н. Апостолов. — Живой Толстой, 1923.
-

СОДЕРЖАНИЕ

ВСЕХ ДО СИХ ПОР (1925 – 1930) ВЫШЕДШИХ 5 ТОМОВ

**КЛИНИЧЕСКОГО АРХИВА
ГЕНИАЛЬНОСТИ и ОДАРЕННОСТИ
(эвропатологии)**

ОГЛАВЛЕНИЕ I ТОМА

В ы п у с к 1-й

От редакции	Стр. 3
Пр.-доц. д-р Г. В. Сегалин. О задачах эвропатологии, как отдельной отрасли психопатологии	7
Пр.-доц. д-р Г. В. Сегалин. Патогенез и биогенез великих людей.	24
I группа примеров, где по отцовской линии отмечается одаренность; по материнской линии наследственная отягченность	30
II группа примеров, где иллюстрируются случаи, из которых видно: по отцовской линии наследственная отягченность; по материнской линии одаренность.	36
III группа примеров, где иллюстрируется такая вариация: по обоим линиям отца и матери — наследственное отягчение, между тем, одаренность или с одной стороны (отца или матери), или же, с обоих сторон	47
IV группа примеров, в которых приводятся случаи еще не обследованные в вышеприведенном смысле (т.е. в смысле соотношений материнской и отцовской линии к наследственному отягчению и к наследственной одаренности), но приводятся, как примеры, где психотический момент всегда имеется в наследственности великих людей	72
Теоретическая часть	83
Пр.-доц. д-р Г. В. Сегалин. К патографии Льва Толстого.	1-XXVIII

В ы п у с к 2-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. — О гипостатической реакции гениальной одаренности	93—110
Др- К. А. Скворцов. — Симптом «иллюзия уже виденного» в творческих процессах	111—151
Д-р Я. В. Минц. — К патографии А. С. Пушкина	29—46
Д-р И. Б. Галант. — Делирий Максима Горького (о душевной болезни, которой страдал М. Горький в 1989—1890 г.).. . . .	47—55
Д-р М. И. Цубина. — М. Врубель с психопатологической точки зрения.	56—65

В ы п у с к 3-й

Пр.-доц. д-р В. Сегалин. Психическая структура эврореактивных типов	153
Пр.-доц. д-р Г. В. Сегалин. Механизм выявления эвро-активности у гениально-одаренных людей	169
Пр.-доц. Д-р Н. А. Юрман. Скрябин, опыт патографии.	67
Д-р. И. Б. Галант. О суицидомании Максима Горького	93
Д-р. И. Б. Галант. К психологии сновидной жизни Максима Горького	111

В ы п у с к 4-й

Пр.-доц. д-р. Г. В. Сегалин. Психоэвротическая пропорция гениальной одаренности	
---	--

роль этого взаимоотношения в структуре эвроактивных типов)	184
Общая диагностическая характеристика эвроактивных типов	194
1. Эрофренические типы	194
2. Латентные эвроиды	195
3. Психотические эвроиды	196
4. Эротимики	196
5. Психотические эвротимики	197
Пр.доц. д-р Г. В. Сегалин. Сдвиги психо-эвротической пропорции гениальности	198
1. Сдвиги психо-эвротической пропорции 1-й группы. Регрессивные сдвиги психо-эвротической пропорции	198
2. Сдвиги психо-эвротической пропорции 2-й группы. Прогрессивные сдвиги	203
Психо-эвротические сдвиги филогенетического характера	206
Причина сдвигов	207
Истощение кумулятивного компонента, как причина сдвигов психо-эвротической пропорции	208
Рост эпистатического аппарата, как причина сдвигов	208
Трансформирующее значение сдвигов	208
Д-р Б. К. Гиндзе.	
1. К вопросу о соматическом исследовании лиц выдающихся психических способностей	214
2. План исследования организма выдающихся людей	217
3. Разрезы через мозг авторов, исследовавших выдающихся людей	219
4. Схема препаровки и разрезов головного мозга	225
5. Методика изготовления постоянного препарата артерий	228
Д-р. И. Б. Галант. Генеалогия Максима Горького, а также общая характеристика личности Горького в связи с его наследственностью и с переживанием детства	115
1. Наследственность М. Горького (с генеалогической таблицей)	115
2. Общая характеристика личности Максима Горького в связи с геродофамильными особенностями его характера и с переживанием его детства	128
Д-р. И. Б. Галант. Пориомания М. Горького	137

ОГЛАВЛЕНИЕ II ТОМА

Выпуск I-й.

Пр.-доц. д-р. Г. В. Сегалин. Общая симптоматология творческих приступов	3
А. Диссоциативные симптомы творческих приступов со стороны интеллектуальной сферы	5
Творческий приступ в состоянии сновидения	5
» » » гипноза	9
» » » транса медиумов	11
» » » истерического припадка	13
» » подсознательного состояния	1
» » в состоянии сознания	18
» » » гипермнезии	18
» » » эпилептической гипермнезии	21

» » » гипермнезии, обусловлен- ной физической или психической травмой	23
Творческий приступ в состоянии гипермнезии, обуслов- ленной воздействием химических веществ	25
Творческий приступ в состоянии гипермнезии, вслед- ствие алкогольного опьянения, а также вследствие опьянения опием, гашишем и пр. наркотическими и возбуждающими сред- ствами	26
Творческий приступ в состоянии гипермнезии при лихо- радных переживаниях (обусловленные инфекционными бо- лезнями)	26
Творческий приступ в состоянии гипермнезии, вследствие органических заболеваний центральной нервной системы	30
Творческий приступ при параместических переживаниях	33
Творческий приступ в состоянии переживания «иллюзии уже виденного»	34
Творческий приступ при иллюзорных переживаниях	35
Творческий приступ в галлюцинаторном переживании	36
Творческий приступ в аутистических переживаниях	42
В. Диссоциативные симптомы творческих приступов со стороны эмоциональной сферы	47
Творческий приступ в состоянии маниакального возбуж- дения	47
Творческий приступ в состоянии возбуждения эпилепто- подобного характера, а также при других состояниях нервно- психического возбуждения	50
Творческий приступ в состоянии сексуального возбуж- дения	51
Творческий приступ в состоянии депрессии	52
Творческий приступ в состоянии притупления аффекта или же при отсутствии аффекта	54
Творческий приступ протекает в сопровождении творче- ских синестезий (сопутствующие ощущения)	55
С. Диссоциативные симптомы творческих приступов со стороны волевой сферы	60
Творческий приступ в состоянии принуждения	60
Творческий приступ в состоянии волевого автоматизма, сознаваемый как автоматизм в виде состояния одержимости	62
Творческий приступ — полный автоматизм и слепое во- леное подчинение в состоянии бессознательности	64
Творческий приступ наступает как импульсивное состоя- ние, захватывающее личность внезапно, как эпилептический припадок	64
Творческий приступ в состоянии принудительности с отри- цательной агрессивной реакцией	65
Творческий приступ при творческих синкинезах	66

П р и л о ж е н и е

Диссоциативные симптомы творческих приступов, вызы- ваемых чисто экзогенным путем (искусственно или случайно)	67
Творческий приступ в состоянии алкогольного опьянения	67
Творческий приступ в состоянии отравления себя опием, га- шишем, эфиром и др. наркотиками и ядами	68
Творческий приступ в состоянии лихорадочных пережива- ний при инфекционных болезнях	70
Творческий приступ после физической или психической травмы	70

Творческий приступ в паралитическом состоянии	70
Творческий приступ при психических переживаниях, вызываемых искусственным изменением кровообращения	70
Пре-эвротические симптомы и пост-эвротические симптомы творческих приступов	71
В ы в о д ы	73
Литературные источники	79

В ы п у с к 2-й

Пр.-доц. д-р Г. В. Сегалин. К патологии детского возраста великих и замечательных людей	83
Д-р И. Б. Галант. Эвropaтология и эндокринология	95
Пр.-доц. Д-р А. А. Капустин. О мозге ученых в связи с проблемой взаимоотношения между величиной мозга и одаренностью	107
Мозг проф. А. Я. Кожевникова	108
Мозг проф. С. С. Корсакова	109
Мозг проф. П. И. Бахметьева	109
Д-р И. Б. Галант. О душевной болезни С. Есенина	115

В ы п у с к 3-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Эвropaтология гениальных эпилептиков. Форма и характер эпилепсии у великих людей	143
Наполеон	145
Чайковский	148
Эдгар Поэ	151
Лев Толстой	154
Байрон	170
Флобер	172
Достоевский	731
Платэн	181
Альфред Мюссэ	181
Петр I, Ришелье, Ю. Цезарь, Огарев, Данте, А. Блок	182—183
Диккенс, Мальборо, Биконсфилд	184
Д-р М. Соловьева. Лермонтов с точки зрения учения Кречмера	189
Д-р И. Б. Галант. К суммидомании М. Горького (дополнительные материалы)	207
Д-р И. Б. Галант Pseudologia Phantastica М. Горького	211

В ы п у с к 4-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Музыкальная одаренность и базедовизм	221
Д-р И. Б. Галант. Эвpo-эндокринология (эндокринология гениальности)	225
Учение о железах с внутренней секрецией	225
Учение об эндокринных типах	237
Гениальные личности в свете учения об эндокринных типах	242
Э п и л е п с и я и мигрень у гениев	247
Эпилептические гении	251
Неврастенические гении	255
Заключительное слово	260
Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Шизофреническая психика Гоголя	263
1. Наследственность Гоголя	264

2. Интеллектуальная сфера Гоголя	267
1. Расстройство аппарата внимания у Гоголя	267
2. Расстройство ассоциативного аппарата и произвольного мышления у Гоголя	269
3. Аутистические переживания у Гоголя	270
4. Расстройства восприятия, узнавания и обманы чувств	271
5. Параноический характер Гоголя	273
6. Бред величия у Гоголя	274
7. Ипохондрический бред у Гоголя	275
3. Расстройство эмоциональной сферы	276
4. Расстройство волевой сферы у Гоголя	284
1. Внешность Гоголя и его выразительные движения	284
2. Неспособность к продолжительной работе и частая смена профессий у Гоголя	286
3. Вычурное, капризное поведение Гоголя	288
4. Приступы заторможенности, мутизма, каталепсии и вазомоторные расстройства у Гоголя	289
5. Шизофренические приступы болезни у Гоголя	290
6. Распад психики у Гоголя	298
7. Последние дни жизни Гоголя и его смерть	301
Заключение	305
Литература	305

ОГЛАВЛЕНИЕ III ТОМА

Выпуск 1-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Частная эвропатология аффект-эпилептического типа гениальности	3
Психическая структура аффект-эпилептического гения	4
Симптомы извращения полярных реакций у гениальных аффект-эпилептиков	15
Д-р И. Б. Галант. Эвроэндокринология великих русских писателей и поэтов	
1. Лермонтов	19
2. Пушкин	39
3. Гоголь	56
Резюме	64
Пр.-доц. Д-р Н. А. Юрман. Бетховен	66
Д-р В. С. Гриневич. Кратографии С. Есенина	82
Д-р И. Б. Галант. П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. ГИЗ, 1926 (рецензия)	95

Выпуск 2-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Симптоматология творческих приступов у гениальных эпилептиков	101
I. Диссоциативные симптомы творческих приступов у эпилептиков со стороны интеллектуальной сферы	104
А. Творческий приступ в бессознательном состоянии	108
В. Творческий приступ в подсознательном состоянии	110
С. Творческий приступ в сознательном состоянии	112
Творческий приступ в состоянии эпилептической гипермнезии	112
II. Диссоциативные симптомы творческих приступов со стороны волевой сферы	121

III. Диссоциативные симптомы творческих приступов со стороны эмоциональной сферы.	124
IV. Симптоматология творческого приступа у эпилептика в целом	128
V. Диагностика и дифференциальная диагностика творческих приступов у эпилептиков	130
VI. Генез эпилептической интуиции	133
Пр.-доц. Д-р Вальтер Ризе Болезнь Винченца Ван-Гога	137
Приложение. История болезни Винченца Ван-Гога психиатрической больницы	145
Д-р И. Б. Галант. Психопатологический образ Леонида Андреева	147
Д-р Б. Я. Вольфсон. О нервно-психической болезни Тургенева (перед смертью) (материалы к патографии Тургенева)	167
Рефераты и рецензии (И. Галант).	175
Эрнст Кречмер о гениальности и вырождении.	177

В ы п у с к 3-й

Проф. В. И. Руднев. Тургенев и Чехов в изображении галлюцинаций	181
Воображение, как основа галлюцинации	186
Эмоция (сть одно из условий галлюцинаций)	187
Механизм галлюцинаций	188
Вера в галлюцинации	189
Патогенез галлюцинаций	190
«Черный монах» Чехова	191
Д-р И. Б. Галант. Эвро-эндокринология великих русских писателей и поэтов	203
4. Ф. М. Достоевский	203
5. Н. А. Некрасов	218
6. Л. Н. Андреев	223
7. И. А. Крылов	239
Д-р Я. В. Минц. Иисус христос — как тип душевно-больного.	243
Наследственность Иисуса	345
Конституция Иисуса	246
Бредовые идеи Иисуса	247
Галлюцинации Иисуса	250
Смерть Иисуса	251

В ы п у с к 4-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Эвропатология музыкально-одаренного человека.	
I. Введение	257
II. Патогенез музыкально-одаренного человека	259
а) данные об артистах оперы (певцов-солистов)	260
б) данные об оркестрантах	267
в) » о х о р и с т а х	272
г) » об артистах балета.	276
д) » о композиторах и выдающихся музыкантах.	279
III. Форма и характер гипостатической реакции у музыкально-одаренного человека	286
Приложение: данные о гипостатической реакции музыкальной одаренности у композитора Гуго Вольф	289
IV. Музыкальная одаренность и базедовизм	295
V- Физическая конституция музыкально-одаренного человека	299

VI. Психическая конституция музыкально-одаренного человека	302
VII. Эндокринная установка музыкально-одаренного человека	304
VIII. Психо-гальваническая реакция до выхода на сцену артиста и после выхода, как показатель степени его возбуждения	312
IX. Профессиональные заболевания музыкально-одаренного человека как выявление его адреналинной недостаточности.	315
а) профессиональные заболевания певцов	315
б) профессиональные заболевания оркестрантов	321
X. Психогигиена и психопрофилактика музыкально-одаренного человека.	332
XI. Выводы	334
Литература	335

ОГЛАВЛЕНИЕ IV ТОМА

В ы п у с к 1-й

1. Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. (Свердловск). Эвропатология научного творчества. Роберт Майер и открытые им закона сохранения энергии	3
А. Патогенез эвроактивной личности Роберта Майера	5
а) кумулятивные симптомы в семье Майеров	5
в) диссоциативные симптомы в семье Майеров	8
с) гипостатическая реакция фамильной одаренности в семье Майеров	8
В. Эвропатология личности Роберта Майера	10
а) симптомы диссоциативные личности Роберта Майера.	11
в) Симптомы кумулятивные личности Роберта Майера	22
С. Психомеханизм и симптоматология творческих приступов у Роберта Майера	28
Эвропатологическая характеристика гениальности Роберта Майера	32
2. Д-р В. С. Гриневич. (Смоленск) — Искусство современной эпохи в свете психопатологии	34
3. Проф. Август Форель (Швейцария) — Эвропатология и евгеника).	
4. Д-р Б. Я. Вольфсон (Кышт. зав.) — «Патогенез мозга» Бехтерева и «Институт гениального творчества Сегалина». (историческая справка)	52
5. Пр.-доц. Д-р Н. А. Юрман (Ленинград) — Болезнь Достоевского	61

В ы п у с к 2-й

Д-р И. Б. Галант. Психозы в творчестве М. Горького	5
Предисловие	7
1. Галлюцинозы	7
Вступительное слово	7
1. Что такое галлюцинация	7
2. История возникновения термина галлюциноз и развитие учения о галлюцинозах	10
3. Общая всем галлюцинозам основная черта	12
4. Подразделение галлюцинозов	13
5. Острые галлюцинозы	13
6. Интоксикационные галлюцинозы	16
7. Острый галлюциноз пьяниц	20
8. Галлюцинозы при инфекциях и галлюциноз сифилитиков	25

	Стр.
9. Алкогогаллюциноз (Галант)	26
II. Галлюцинирующая женщина в изображении Максима Горького	34
III. Случай Константина Миронова. К учению об эпизодических сумеречных состояниях	51
IV. Пиромания. Психопатологический и клинический этюд	71
1. Как понял Крепелин проблему пиромании	71
2. Пассивная пиромания	72
3. Активная пиромания	75
4. Этиология активной пиромании	82
5. Горький о пиромании	91
V. Параноя в художественном изображении М. Горького	93
VI. Невроз навязчивых состояний	100

В ы п у с к 3-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин К патогенезу ленинградских ученых и деятелей искусств	3
Данные о выдающихся ученых	7
Данные о представителях искусств Ленинграда	12
Данные об ученых Ленинграда (попавших в группу «Зурядных ученых»)	16
В ы в о д ы	19
Проф. Руднев. Психологический анализ «Призраков» Тургенева.	23
Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Кривая одаренности по Гальтону и европатология	35
Д-р Я. В. Минц. Александр Блок. Патографический очерк анализа	45
Д-р Г. И. Плессо. Депрессия Тургенева в свете психоанализа	55
Д-р И. Б. Галант. Август Форель (к 80-летию юбилею)	67
Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Август Форель как европатолог	76
Некролог д-р В- С. Гриневич	79

В ы п у с к 4-й

Д-р Вильгельм Ланге. Проблема гениальности и помешательства	3
Д-р Г. И. Плессо. К вопросу о патогенезе личности Тургнева.	54
М. Л. Храповицкая. Материалы к патогенезу личности Глеба Успенского	69

ОГЛАВЛЕНИЕ V ТОМА

В ы п у с к 1-й

Проф. М. П. Кутанин. Бред и творчество	3
Пр.-доц. Вальтер Ризе. Значение болезненного фактора в творчестве Ван Гога.	37
Проф. М. П. Кутанин. Гений, слава и безумие	45
Д-р М. И. Цубина. Шизофрения и одаренность	63
Проф. В. И. Руднев. «Записки сумасшедшего» Л. Толстого	69
Пр.-доц. Г. В. Сегалин. — «Записки сумасшедшего» — Льва Толстого как патографический документ	73

В ы п у с к 2-й

Пр.-доц. Д-р Г. В. Сегалин. Изобретатели как творческие невротики (эвроневротики)	5
I. В в е д е н и е	

II. Определение понятия «изобретатель» с европатологической точки зрения	7
III. Классификация изобретателей	14
IV. Биогенез изобретателей	19
V. Типы изобретателей—эвроневротиков с полноценной продуктивностью (эвропозитивные типы)	23
1. Эпилептоидный тип изобретателя	23
2. Шизоидный тип изобретателя	26
3. Циклоидный тип изобретателя	34
4. Параноидный тип изобретателя	38
VI. Типы изобретателей эвроневротиков с неполноценной продуктивностью (относительно европозитивные типы, недостаточно компенсированные типы)	40
Типы бесплодных изобретателей	41
А. Экзогенные причины бесплодия изобретателей	41
В. Эндогенные причины бесплодия	41
1. шизоидные формы бесплодия	42
2. циклоидные формы бесплодия	44
3. эпилептоидные формы бесплодия	45
4. параноидные формы бесплодия	46
VII. Типы изобретателей с абсолютно малоценной продуктивностью (абсолютно бесплодные европаты, эвронегативные типы)	47
VIII. Симптоматология отдельных типов изобретателей и их распознавание	51
IX. Симптоматология и распознавание творческих приступов у отдельных типов изобретателей	55
X. Вопросы эвротерапии и эвропрофилактики, как очередная проблема при создании помощи изобретательству	58
XI. Вопросы научной и социальной организации изобретательства	61
Заключение	64
Примечание к отдельным главам и по отдельным вопросам	65
Литература	74

В ы п у с к 3—4-й

Прив.-доц. Г. В. Сегалин. Европатология личности и творчества Л. Толстого	5
---	---

Предисловие

А. Европатология личности Льва Толстого	
Лев Толстой, как эпилептоидная личность	7

I. Клинические данные

1) Время появления судорожных припадков	8
2) Аффективный характер личности («эпилептоидный характер»).	10
3) Психологические изменения настроения. Приступы депрессии.	26
4) Приступы сумеречных состояний	29
5) Приступы патологического страха смерти	38
6) Приступы психической ауры и эпилептоидных экстазов	44
7) Галлюцинации	46
8) Приступы моментального затмения сознания (Petit mal)	49
9) Головокружения и обмороки	50
10) Судорожные припадки	51
11) Зависимость судорожных припадков и их эквивалентов от аффективных переживаний.	61

12) Наследственная отягченность	82
13) Общая оценка всех клинических данных	87
11. Аффект-эпилептоидные механизмы. Влияние их на поведение личности Льва Толстого	70
Б. Эвропатология творчества Льва Толстого	78
1) Хронологическая кризая творческих периодов	79
2) Роль эпилептоидных механизмов в формировании европативных и евронегативных приступов творчества	81
3) Эпилептоидный характер содержания творчества	
Эпилептоидные комплексы, как содержание его творческих комплексов	86
а) Пример «погружения» героя в комплекс сумеречного состояния, сопровождающегося ступором и автоматизмом.	94
б) Пример «погружения» героя в сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом гнева с импульсивными действиями	99
с) Пример «погружения» героя в сумеречное состояние, сопровождающееся комплексом патологического страха смерти с галлюцинациями устрашающего характера.	—
д) Пример «погружения» в сумеречное состояние, сопровождающееся аффектом патологической ревности с импульсивными действиями (убийства).	104
е) Пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, носящее характер сноподобного или грезоподобного состояния	109
ф) Пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся экстазом счастья, когда из людей кажутся ему необычайно «добрыми» и «хорошими»	112
г) Пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся экстазом, при чем данная личность впадает в тон проповедника-моралиста, бичующего пороки людей и протестующего против лжи и порочности людей	114
h) Пример «погружения» героя в легкое сумеречное состояние, сопровождающееся приступом психической ауры и экстазом, когда появляется «откровение» с богоискательским содержанием	120
и) Прочие формы «погружения»	124
4) Стиль и техника письма Льва Толстого. Влияние на них эпилептоидных механизмов.	125
а) эпилептоидный характер реализма Толстого	—
б) эпилептоидная склонность к обстоятельности и детализации мелочей	126
с) эпилептоидная склонность к повторениям и подчеркиваниям («приставания» к читателю).	127
д) эпилептоидная склонность к «пророческому» и наставническому тону нравователя-проповедника	132
е) Отсутствие типов в творчестве Толстого	134
ф) Влияние эпилептоидных провалов психики на стиль Толстого	136
5) Симптоматология творческих приступов у Толстого	138
6) Толстой и Достоевский	145
7) Литература	147